



Леонид Цыпкин

**Лето
в Бадене**
и другие
СОЧИНЕНИЯ

Леонид Цыпкин
**«Лето в Бадене» и
другие сочинения**

«НЛО»

Цыпкин Л.

«Лето в Бадене» и другие сочинения / Л. Цыпкин — «НЛО»,

ISBN 978-5-44-481487-1

Первое издание романа Леонида Цыпкина, вышедшее в переводе на английский язык, стало на Западе сенсацией. «Затерянный шедевр», «грандиозная веха русской литературы XX века», «самое неизвестное гениальное произведение, напечатанное в Америке за последние 50 лет» – таковы отзывы из посыпавшихся вслед рецензий. Именно о нем Сюзан Зонтаг написала так: «Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности – в самом широком смысле этого определения». В завораживающем ритме романа сплелись путешествие рассказчика из Москвы 70-х годов в Ленинград и путешествие Достоевского с женой Анной Григорьевной из Петербурга в Европу в 1867 году, вымысел в нем трудно отличить от реальности. Леонид Цыпкин (1926–1982) – писатель, врач-патологоанатом.

ISBN 978-5-44-481487-1

© Цыпкин Л.

© НЛО

Содержание

Об отце	5
Лето в Бадене	14
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Леонид Цыпкин

«Лето в Бадене» и другие сочинения

Роман, повести, рассказы

Об отце

Мой отец был печатающимся писателем одну неделю: номер эмигрантского еженедельника «Новая газета» с первыми страницами его романа «Лето в Бадене» вышел 13 марта 1982 года в Нью-Йорке, а 20 марта отец в одноминутье умер в Москве – в свой пятьдесят шестой день рождения. Сюжетная линия его жизни несложна: она не так уж была богата событиями и достаточно типична для человека его круга и поколения.

Леонид Борисович Цыпкин родился в 1926 году в Минске в потомственной врачебной еврейской семье. Когда ему было лет десять, отец хотел стать астрономом, потому что это «неответственная работа» – отголосок взрослых страхов в 30-е годы, в начале которых мой дед, известный хирург-ортопед Борис Наумович Цыпкин, был арестован. Времена еще были сравнительно мягкие, до-ежовские, и когда дед прыгнул в пролет лестницы в здании минского НКВД и повредил позвоночник, то по заступничеству коллег (в особенности известного минского доктора Моисея Наумовича Шапиро, который в самые страшные годы не боялся – и умел – помогать попавшим в беду), его выпустили и больше не трогали, хотя его брат и две сестры были арестованы и погибли. Каким-то чудом дед не остался инвалидом и продолжал оперировать до своей смерти в 1961 году. Отец не любил об этом рассказывать, вроде бы даже и не помнил (я эту историю узнал от бабушки), но эпизод возвращения деда из тюрьмы промелькнул в повести «Мост через Нерочь» как предвестие его болезни и смерти тридцать лет спустя.

История нашей семьи важна не столько потому, что отец черпал из нее сюжеты и образы, сколько потому, что отец, человек сугубо частный, «камерный», ощущал мир через семью и защищался от этого недружелюбного мира – семьей. События, разрушившие эту когда-то большую семью, обрубившие семейные корни, положены в основание двух повестей – «Мост через Нерочь» и «Норартакир». В 1941 году семью согнала с насиженного места война: чудом выскользнули они из уже замыкавшегося немецкого кольца вокруг Минска. Не сумевшие уйти сестра деда, его мать и два маленьких племянника были убиты в гетто. Почти сорок лет спустя моя эмиграция завершила это разрушение.

В эвакуации в Уфе отец, которому тогда не было и семнадцати лет, поступил в медицинский институт; в студенческой среде развился его интерес к художественной литературе, и он, по-видимому, сделал первые попытки писать. Попытки были неудачные, и до 60-х годов отец писал уже только научные статьи. А у него была вполне успешная (в пределах возможного для безусловно беспартийного и безысходно еврейского интеллигента) карьера: в сорок два года отец был доктор медицинских наук, автор десятков научных статей, сотрудник научно-исследовательского института. К тому же большая часть его жизни прошла в Москве. В 1948 году он женился на Наталье Иосифовне Мичниковой; в 1950 году родился единственный сын.

Не все было гладко. Работы во времена борьбы с «космополитизмом» не было, и отца вместе с другими безработными врачами-евреями в конце концов пригласил главврач московской областной психиатрической больницы имени Яковенко Владимир Васильевич Ченцов. Не только взял на работу, что было небезопасно, но и, вероятно, – а это уж было очень опасно – спас от ареста: нажал на нужную кнопку в местном отделе МГБ, и дело с доносами на отца, притащившееся за ним аж в деревню Мещерское, куда-то пропало. А тут и Сталин умер, но отец в Москву не вернулся до 1957 года.

если нет веры? Есть ли связь между психопатологией личности и творческим началом? (Отец страдал от периодических депрессий.) Где корни антисемитизма?

У меня из отцовской библиотеки осталось старое (первое послесталинское) собрание сочинений Достоевского. По нему видно (особенно по томам с «Братьями Карамазовыми» и «Бесами»), что с ним буквально работали – при том, что отец был фанатично аккуратным человеком: его много потрудившийся фотоаппарат «Зоркий-2С» выпуска 1954 года до сих пор как новенький. К повести из жизни Достоевского «Лето в Бадене» отец шел не один год: изучал воспоминания современников, много времени провел над дневниками Анны Григорьевны Достоевской, находил места (Достоевский почти всегда описывал реальные дома и улицы), где происходило действие его произведений. Несколько лет исследований ушло на создание фотоальбома «По местам героев Достоевского», в котором фотографии сопровождались соответствующими цитатами. Отец подарил фотоальбом музею Достоевского в Ленинграде и выступил там с лекцией. Но это уже было в конце его жизни.

Некоторые стихотворения были, наверно, удачными; примечательнее всего для меня в них упорный поиск подлинного чувства. В 1965 году отец должен был идти показывать свои стихи А.Д. Синаевскому, но того как раз арестовали. Получилось как бы предупреждение: наступают другие времена, сиди, не высовывайся! Отец не склонен был много говорить и даже думать о политике; у нас в семье было принято без всяких споров, что советский режим – это воплощенное Зло. Отец ощущал политические перемены скорее своим художественным чутьем: через несколько дней после падения Хрущева (которого отец, несмотря ни на что, уважал за освобождение узников ГУЛАГа и за публикацию Солженицына, портрет которого тоже появился над рабочим столиком отца и так там и остался до его смерти) он написал:

КРИВЫМ ПЕРЕУЛКОМ

Я иду кривым переулком.
Надо мной фонари и звезды.
Днем обитатели переуллка
играют в футбол,
забивают козла,
развешивают белье,
Я торопливо прохожу сквозь строй
 сверлящих взглядов
и чувствую себя, словно зимой
 пятьдесят третьего.
А сейчас тишина.
Все спят, и только
 в редких светящихся окнах
фикусы и угол гардероба.
Обитатели переуллка спят:
 им завтра рано на работу.
Я слышу, как они тяжело дышат
 (наверно, и я во сне так же дышу).
И чья-то свесившаяся рука касается пола.
И кто-то вздыхает.
Хотя на дверях засовы и замки,
все – настезь.
Можно закрыть воду,

сменить правительство.
Все останется безнаказанным:
спящие беззащитны.
Я иду не спеша.
Мне незачем торопиться.
Надо мной только фонари и звезды.
мешает нам стать друзьями?

В середине 60-х годов отец познакомился и почтительно подружился с соседкой по новому дому – пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной, которую раньше он знал как знаменитую исполнительницу Бетховена, как крещеную еврейку, открыто исповедующую православие, не отказываясь от своего еврейства. Видел он ее до личного знакомства один раз – на похоронах Б.Л. Пастернака. Эта дружба означала для отца, в первую очередь, прикосновение к высокой традиции русской культуры, люди которой чувствовали себя дома в культуре европейской. Затем, православие Юдиной интересовало отца: как довольно многие интеллигентные евреи в Москве, он начал в это время искать Бога и, не получив никакого иудаистского образования, думал об этих исканиях в рамках православия, религии, глубоко связанной с культурой, которую отец почитал для себя родной, однако сам никогда не помышлял о крещении, считая, что такой шаг будет приспособленчеством, хотя бы даже и самым рафинированным. А еще был иногда вопиющий разрыв между высокими устремлениями Юдиной и ее временами весьма нелегким в повседневной жизни нравом – этот разрыв интересовал отца, увы, далеко не с чисто исследовательской точки зрения, в быту он часто бывал вовсе не таким человеком, каким хотел бы быть, и глубоко страдал от этого.

Дружба с Юдиной и ее смерть в 1970 году стали материалом для раннего рассказа отца «Ave Maria!». После немногочисленных неудачных попыток напечатать стихи в конце 60-х годов отец почти перестал их писать; к тому же его силы уходили на завершение работы над докторской диссертацией. Получение более высокой научной степени и соответствующая прибавка к зарплате (отец был старшим научным сотрудником Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук) давали возможность отцу не прирабатывать вечерами в больнице. (Отец считал постыдным, что сотрудники медицинских НИИ зарабатывали гораздо больше, чем больничные врачи, работу которых он считал в общем гораздо более осмысленной, и сам работал в НИИ только потому, что это лучше обеспечивало семью.) Как только диссертация была закончена, отец снова начал писать, но уже не стихи, а прозу.

Теперь-то я понимаю, что отец работал на износ. Каждый день, ровно без четверти восемь, он отправлялся на дальнюю (почти во Внуково) работу и возвращался ровно в шесть вечера. Обедал, дремал полчаса и садился писать если не рассказы, то научные статьи. На ночь мог выйти погулять. В выходные тоже писал, работал в профессорском зале «Ленинки» (там часто собирал материалы по Достоевскому), зимой по воскресеньям катался на лыжах в «Мичуринце», где у Дома ученых была лыжная база. Любил осень, зиму, солнечные времена года часто угнетали его. Обычно брал меня, школьника, потом уже и студента филфака МГУ, на эти лыжные прогулки, которые запомнились на всю жизнь, как и одно лето, которое отец провел почти целиком (в их институте работали с очень опасными вирусами, и поэтому полагался длинный отпуск) со мной, двенадцатилетним, на даче.

Мне не под силу, да и не к месту, разбирать достоинства и недостатки его прозы. Отец жаждал каждой встречи с белым листом бумаги, но писал нелегко, нередко мучился над каждым словом, бесконечно выправлял рукопись. Дело было в основной стилистической задаче: придать четкую форму его мысли, необычайно богатой, взвихривающейся и захватывающей поразительно широкие круги все новых и новых ассоциаций, эту мысль не стреножив. Отсюда очень длинные, нередко на несколько страниц, предложения, «путешествующие» из Москвы

в Курск через Хабаровск. Маршрут не самый короткий, но зато по дороге можно настолько больше увидеть!

Перечерканные рукописи отец обычно сам перепечатывал на старенькой, сияющей чистотой трофейной «Эрике» – как пел в те годы Галич, «Эрика» действительно брала «четыре копии», и большего «тиража» отцу и не понадобилось, так как он по редакциям не ходил и практически не пытался напечататься, и был прав, не тратя зря силы на это. Он не писал ничего острополитического – поэтому его проза и в самиздате бы особого успеха не имела; чем можно было удивить самиздатовскую читающую публику в годы, когда по рукам ходил «Архипелаг ГУЛАГ»! Да отец и не хотел давать свои вещи в самиздат: боялся «разговоров» с КГБ и остаться без работы. В мир же «разрешенной» литературы ему ходу не было, и это связано как с обстоятельствами, так и с природой его литературного дарования.

Писательство было для отца самовыражением в самом прямом смысле слова: он не умел выдумывать с нуля положения и характеры, брал их из своей жизни, смотрел на них своими глазами, и главное для него было – честно разобраться в самом себе. И тут уж никак нельзя было обойти запретные темы, разве что если жить с закрытыми глазами и ушами (как многие из чувства самосохранения умудрялись). Можно ли было написать «Мост через Нерочь», позабыв об отставших от колонны заключенных, которых убежавший из Минска в июне 1941 года НКВД расстреливал прямо на обочине дороги, почти что на глазах у беженцев? А что бы осталось от «Норартакира» без вызревающего в трагедию автора вопроса еврейской эмиграции на фоне арабо-израильской войны 1973 года? И где была бы душевная пружина «Лета в Бадене», если бы не крамольное (даже и по нынешним временам) подозрение автора, что Достоевский ненавидел евреев со страстью оттого, что видел в своем характере столь презираемые им у евреев черты? Отец отнюдь не стремился писать на запретные темы, просто он не мог осмысливать свою жизнь, не касаясь их. А тут еще доза формального эксперимента, и не-членство в литературской стае – в редакции ходить было и вправду незачем, да и опять же оттуда рукописи могли утечь на Лубянку. Один хороший журнальный редактор, которого отцу порекомендовали как надежного, черкнул на рукописи: «Прекрасный рассказ, но кто же его напечатает?» Весь «дух» его прозы, как сказал тот же редактор, был «не антисоветским» – а просто «не нашим».

В 1970-е годы очевидным выходом было бы напечататься на Западе, он манил отца, но последствия (в лучшем случае безработица, гэбэшные провокации и угрозы и в конце концов вынужденная эмиграция) отпугивали еще больше. Солженицынский «Бодался теленок с дубом», прочтенный отцом не позже 1977 года, оставил его в тяжелом настроении: цена свободы, которой Солженицын добивался в борьбе со всей навалившейся цекагэбэшной системой и за которую расплатился насильственной эмиграцией, показалась отцу недоступной. Круг прижизненных читателей отца остался очень узок: моя мать, я, пара моих филфаковских друзей, иногда кто-то из литературной среды, где отцу не удалось создать себе ни серьезных друзей, ни даже подпольного имени, а впоследствии – несколько знакомых среди «отказников». Здесь, конечно, виновата не только советская власть, но и характер отца: очень ранимый, гордый, он плохо переносил непонимание, хотя доброжелательную профессиональную критику был готов выслушивать.

Начавши писать прозу в сорок с лишним лет, отец становился писателем в одиночестве и молчании. Он сам был своим основным критиком, и, несмотря на это, его мастерство росло шаг за шагом: от коротких, почти бессюжетных рассказов он перешел к более длинным, с более сложным сюжетом, оттуда шагнул к автобиографическим повестям («Мост через Нерочь» и «Норартакир»), а затем и к неавтобиографическому (хотя и частично основанному на документальных материалах) «Лету в Бадене».

К западной литературе девятнадцатого века отец был сравнительно равнодушен. Немногие новинки (для советской публики) западной литературы двадцатого века читал с большим

интересом. К сожалению, многое забылось; помню, как он читал переводы «Чумы» и «Постороннего» Камю, «Самопознание Дзэно» Итало Свево. Очень важным для отца было знакомство с творчеством Франца Кафки. Отцу была тревожно близка основная тема творчества этого дважды изгоя – немецкоязычного писателя среди чехов, еврея в немецкой культуре – человека, преследуемого чем-то бесчувственным и бессмысленным, то ли государственной машиной, то ли роком. У отца была подспудная глубокая уверенность, что от суммы да от тюрьмы ему в конце концов не уберечься. Моя эмиграция в 1977 году быстро превратила его жизнь в кафкианский сюжет. В 1979 году отца «сократили» из института полиомиелита как не прошедшего переаттестацию, несмотря на двадцать два года безупречной работы в институте, около ста научных публикаций и т.д. Переаттестация часто использовалась в 1970-е годы для избавления от неугодных, в частности, евреев, в системе Академии медицинских наук, к которой принадлежал Институт полиомиелита¹. Отец, зная, что ему предстоит переаттестация, просил меня подождать – пару лет – с эмиграцией, чтобы он, уже переаттестованный, мог дотянуть до пенсии. Я ждать не стал. Увольнение было волчьим билетом – ни на какую другую работу в Москве его не брали из-за анкеты с «пятым пунктом» и сына в Америке. Мать уже была без работы со времени моей эмиграции – ушла сама, чтобы меня не посадили в отказ из-за ее секретности, и устроиться заново, по тем же анкетным соображениям, тоже уже не могла.

К эмиграции как общественному явлению отец относился положительно: ему нравилось, когда кому-то хватало смелости действовать наперекор режиму. Он никогда не был за границей, даже в соцстранах. Незадолго до моего отъезда отец сказал мне, что раньше мечтал побродить по Парижу, но что теперь ему и этого уже не хочется. Мне было двадцать шесть, и я поверил моему пятидесятилетнему отцу; теперь мне пятьдесят три, и я знаю, что он просто утешал себя. О себе как об эмигранте он тогда еще всерьез не думал; во всяком случае, до моего отъезда такую возможность отрицал. Отец боялся не пережить неизбежной схватки с режимом (докторов наук выпускали с очень большим скрипом) и почти так же боялся оказаться вне родной языковой и культурной среды. Эта среда была для него чрезвычайно важна: герой «Норартакира», оказавшись вне России всего лишь в подсоветской Армении, болезненно чувствует себя иностранцем!

Мой отъезд вместе с все ухудшающейся обстановкой в стране изменили отношение отца к эмиграции: теперь он уже хотел уехать, и увольнение послужило последней каплей. Его подталкивала жажда увидеть наконец свои произведения в печати. Директор Института полиомиелита С.Г. Дроздов (директорствующий и по сей день) был в прошлом функционером Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и надеялся туда вернуться. Опасаясь, по-видимому, что я подыму скандал на Западе из-за увольнения отца, который повредит международной карьере Дроздова, он предложил отцу остаться в Институте «временно» на должности младшего научного сотрудника – с условием, что отец подаст документы на эмиграционную визу, и с надеждой, что таким образом он вскоре покинет институт.

Дроздов просчитался: отец и мать получили первый отказ из ОВИРа только почти через два года. Два года, в течение которых он каждый день ходил на службу, где ему не давали никакой работы, кроме самой рутинной, потому что никто не хотел проводить исследования вместе с «политически неблагонадежным» сотрудником. В институте с отцом продолжали разговаривать считанные люди: основатель института Михаил Петрович Чумаков, относившийся к антисемитизму с омерзением и презиравший трусов, многолетняя сотрудница отца Люсия Иосифовна Равкина и еще несколько человек. Отца и вскоре подавших на эмиграцию Равкину и еще одного сотрудника – Григория Львовича Зубри – переселили в отдельную комнату. Отец

¹ Детальный анализ этого явления можно найти в воспоминаниях академика РАН Г. И. Абелева «Драматические страницы истории отдела вирусологии и иммунологии опухолей» // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. №1–2, <http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/VIET/ABELEV.HTM>

называл эту комнату камерой. Телефона в комнате не было, и отец, по словам Л. И. Равкиной, был ужасно оскорблен и угнетен тем, что заведующий лабораторией А. В. Тюфанов, сидевший в комнате с телефоном, перестал звать отца, когда тому звонили.

Второй отказ отец и мать получили через несколько месяцев после повторной подачи документов, с пояснением, что их выезд «нецелесообразен». Абсурдность всего этого усугублялась тем, что, как выяснилось позднее, относительно недавняя секретность матери была ни при чем, все, по-видимому, упиралось в отцовскую злосчастную степень доктора наук. Недаром писал он докторскую диссертацию без всякой радости!

Незадолго до первого отказа, 7 января 1981 года, отец закончил «Лето в Бадене». К концу повести действие переносится из 1867 года, летом которого супруги Достоевские и были в Бадене, в январь 1881 года, дни последней болезни и смерти писателя. Смерть – в центре многих вещей отца, и это неудивительно, учитывая его профессию и жизненные обстоятельства. Узлы сюжета «Моста через Нерочь» – это смерть дедушки, а затем и отца автора повести, гибель родных под смертным валом 1941 года и ощущение собственной смертности автором, который, глядя на попутчиков в московском метро, неожиданно видит их всех «лежащих в однообразных позах – с руками, сложенными на груди, с головой, запрокинутой назад, с желтыми, восковидными лицами...». Смерть – в центре рассказов «Тараканы» и «Ave Maria!». Повесть «Норартакир» проходит под отзвуки смертоубийства на Ближнем Востоке, под гул советских самолетов, везущих туда оружие, чтобы убивать братьев по крови героя повести; он сам накликает на себя беду (эмиграцию сына), играя с чужой смертью: наугад говорит насолившей ему гостиничной администраторше, что у нее рак, и оказывается, к собственному ужасу, прав.

Он описывал смерть с клинической точностью и какой-то отстраненностью, как смерть отца героя повести «Мост через Нерочь»:

...когда он побрил одну щеку, а вторая еще оставалась намыленной, он вдруг услышал голос матери, обращенный к нему: «У папы остановилось дыхание!» – она сказала это так, как будто сообщала ему, что его к телефону или что суп на столе. Он вбежал в столовую: над изголовьем отца склонились две фигуры – кажется, ординаторы из его клиники – они пытались что-то сделать с отцом – один из них вводил резиновую трубку в рот отца, погружая ее все куда-то глубже и глубже, а другой изо всей силы дул в эту трубку, как будто хотел разжечь потухший самовар. «Ровно двенадцать», – сказала мать, посмотрев на часы отца, и они с сыном ушли из комнаты отца, как уходят с затянувшегося спектакля...

Составитель тысяч протоколов вскрытий, отец много думал о смерти, боялся ее – и описывал со стороны, не пытаясь проникнуть в душу умирающего. В своей последней повести «Лето в Бадене» он такую попытку сделал. Может быть, это было предчувствие: отец вообще не верил, что долго проживет, а оказавшись «в отказе», часто говорил, что так и умрет в СССР. Скорее, по-моему, это был все же новый шаг для отца как для писателя – он переступал через границы собственной личности, своего непосредственного опыта. Этот шаг был и последним – после «Лета в Бадене» отец не успел уже ничего больше написать.

К весне 1982 года бюрократические карты Дроздова легли по-новому. Могу лишь догадываться о мотивах его действий. Знаю, что весной 1982 года стала светить ему должность зама главы ВОЗа – Женева, очень большое (даже по западным понятиям) жалованье; в общем – мечта. В 1979 году увольнять отца совсем показалось Дроздову лишним: как бы на Западе чего не сказали. Но это было до Афганистана, до ссылки Сахарова. А за два года дух изменился: уже пахло андроповщиной, и умный номенклатурщик должен был выказывать непреклонность к врагу без дипломатических виляний. Почти никто еще не видел, что непреклон-

ность уже была не что иное, как *rigor mortis* – мертвецкое окостенение режима. Видимо, чтобы обеспечить тылы для последней цекагэбэшной проверки перед желанным назначением, Дроздов и решил, что теперь самое время от отца избавиться. 15 марта Дроздов вызвал отца к себе, усадил, спросил, не дует ли из форточка, и сообщил о немедленном увольнении. Стало не на что жить, не на что надеяться. В этот день я позвонил отцу сказать о начавшейся публикации «Лета в Бадене», узнал о случившемся – и был поражен его голосом. Не было в нем ни нотки раздражения, что для отца в такой ситуации обычно было бы непременно, говорил он со мной тихо и очень ласково, как с маленьким.

Это было в понедельник. На неделе я разговорился о бедах моих родителей с коллегой, хотя и не был с ней особенно близок, и, неожиданно для самого себя, вдруг сказал: «Ты знаешь, я боюсь, что он этого не переживет». А в субботу мне позвонила мать... В этот день отец с утра сел работать: он решил зарабатывать техническими переводами. Мать купила ему на день рождения его вещь, о которой он мечтал, – многоцветную шариковую ручку, наверно, в помощь работе, и пошла готовить любимое блюдо отца на обед. Отец неважно себя почувствовал, прилег, попросил мать (впервые в жизни) вызвать «скорую помощь», успел сказать: «Наташа, мне еще никогда так не было плохо» – и умер.

Последние пять лет его жизни я разговаривал с отцом только по прослушивавшемуся телефону, переписывался через руки цензоров; изредка удавалось отцу послать неподцензурное письмо через надежных людей. Обрывочно я чувствовал, как нарастали его пессимизм по поводу российского будущего, горечь от двусмысленного положения еврея в русской культуре. Это должно было быть очень больно моему отцу, который еще в 60-е годы ездил фотографировать церкви в Поволжье и любил белоголовых крестьянских детей. В последние три месяца жизни он работал над статьей, начинавшейся с горького признания: «Я не русский философ, не русский писатель и даже не русский интеллигент. Я просто советский еврей...». Основной пафос так и не законченной статьи – безнадежность положения евреев в любой диаспоре, особенно в российской, обреченность их попыток дать что-то приютившей их, волей или неволей, культуре.

Я, конечно, по тем временам не мог приехать на похороны отца: не пустили бы. Отец завещал похоронить себя там, где у него были корни, рядом со своими родителями, в Минске, откуда в молодости он так стремился в Москву. Теперь бы он горько посмеялся: после смерти все-таки оказался за границей! – шутка, вполне достойная шекспировского могильщика. Но не видел и не вижу я для него подходящего места ни на Западе, ни в Израиле: он был соткан из противоречий, страстей и пристрастий своего места и времени, слишком сильно эти место и время чувствовал, точно их запечатлел и принадлежал только им.

Я так и не успел толком попрощаться с отцом перед отъездом. На шумном прощальном сборище родители стояли в молодой толпе одиноко и неуютно, на краю комнаты, на фоне неба, угасавшего в окне над балконом. Я видел профиль отца, чувствовал его молчание и ожидание, но какие серьезные разговоры могли быть в этом гвалте?.. Я должен был забежать к родителям на несколько часов на следующий день, но провел на Шереметьевской таможне почти целые сутки, покуда чиновники отдыхали, досматривали пассажиров более высоких категорий, и, наконец добравшись до меня, решили устроить «пилюлю от ностальгии» с разрезанием воротничков и т.п. Отца я увидел уже только утром 29 июня 1977 года в Шереметьеве. Говорить было некогда, да и все было переговорено. Мы обнялись, и я почувствовал, что мой отец, в чьих глазах я никогда не видел ни слезинки, с трудом подавляет рыдание. Пройдя через таможню и поднимаясь по открытой лестнице на второй этаж к паспортному контролю, я увидел на несколько мгновений отца внизу, он глядел на меня пристально и бесслезно. Между нами уже была черта, которую ему так и не пришлось переступить.

Отец сомневался в своем даре и вряд ли примерял к себе булгаковское «рукописи не горят». В одном из писем он спросил меня, не изменил ли я своего высокого мнения о его прозе, прочитав на Западе запретную в СССР русскую литературу. В душе он, конечно, мечтал о писательском успехе, но не очень-то надеялся на это, не будучи склонен верить в чудеса. Я не утешаю себя, пытаюсь представить, что бы он сказал, если бы узнал, что его роман «Лето в Бадене» издан (или будет издан в ближайшее время) в полутора десятках стран, что о романе и его авторе написала в журнале «Нью Йоркер» Сьюзен Зонтаг, что роман встретил в Америке восторженный прием серьезной критики. Отец не верил ни в наказание, ни в награду после смерти: «Нам нужно видеть расплату, – иначе это уже не расплата», – написал он в «Мосте через Нерочь». Радость держать его книги в руках он оставил мне.

Я хочу поблагодарить (в хронологическом порядке) тех, без чьей помощи книг бы не было.

Моя мать, Наталья Мичникова, взяла на себя почти весь труд по дому – без этого мой отец бы не смог писать по вечерам и выходным.

Моя жена, Лена, организовала переправку значительной части архива отца в 1977 году с помощью Наны Рогинской и сотрудницы австрийского посольства, имени которой, к сожалению, я не помню.

Азарий Мессерер вывез рукопись «Лета в Бадене» из СССР с помощью американских журналистов – Уолтера и Мэри Вишневы. Он же устроил ее публикацию в «Новой газете» – публикацию, которую заметил из Германии издатель Лев Ройтман, усилия которого привели к первой публикации романа на немецком языке, а затем и к первой публикации по-английски. Роджер и Анжела Киз блестяще перевели этот трудный текст. Именно это издание и нашла в букинистическом магазине в Лондоне Сьюзен Зонтаг. Без Азария я бы никогда не узнал, что г-жа Зонтаг прочла «Лето в Бадене» и хочет добиться его издания в США.

Джозеф Финдер и его сестра Сьюзен Финдер вывезли из СССР архив отца после его смерти.

Зара Абдуллаева боролась за издание книги в России несколько лет. Она первой в России написала о моем отце в журнале «Искусство кино»². Благодаря Заре сборник прозы отца был напечатан маленьким тиражом в 1999 году издательством МХТ, где над ним с любовью работала Анна Анатольевна Ильницкая.

Без вмешательства Сьюзен Зонтаг в литературную судьбу моего отца чуда бы не произошло: не было бы переводов на полтора десятка языков, не было бы рецензий в «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Ревью оф букс». Чрезвычайно занятая, знаменитая, целый год она действовала как литературный агент давно умершего автора – и добилась публикации английского перевода «Лета в Бадене» в США.

Андрей Устинов подготовил к публикации текст «Лета в Бадене».

Проза моего отца обрела наконец свое место на полках книжных магазинов в России благодаря усилиям Ирины Дмитриевны Прохоровой и ее коллег по «НЛО».

*Михаил Цыпкин
Пасифик Гроув, Калифорния, США
Ноябрь 1995 г. – апрель 2004 г.*

² Абдуллаева Зара. Фантастический реализм // Искусство кино. 2002. № 3. С. 28–31.

Лето в Бадене

роман

*Посвящается
Кларе Михайловне Розенталь*

И кто знает... может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной... непрерывности процесса достижения, иначе сказать – в самой жизни, а не собственно в цели...

Ф. Достоевский. «Записки из подполья»

И как назойливы, как дерзки ваши выходы, и в то же время как вы боитесь!

Ф. Достоевский. «Записки из подполья»

Текст романа подготовил Андрей Устинов.

Поезд был дневной, но была зима, самый разгар ее – конец декабря, кроме того, поезд шел в сторону Ленинграда – на север, поэтому за окнами быстро стало темнеть, – яркими огнями вспыхивали лишь уносившиеся назад, словно брошенные чьей-то невидимой рукой подмосковные станции – дачные платформы, занесенные снегом, с чередой мелькающих фонарей, сливающихся в одну огненную ленту, – станции проносились с глухим грохотом, словно поезд шел по мосту, – грохот смягчался двойными рамами, почти герметизирующими вагон, с мутными полузамерзшими стеклами, но огни станций все равно пробивались сквозь стекла и чертили огненную линию, а там, дальше, угадывались необозримые снежные пространства, и вагон сильно качало из стороны в сторону – бортовая качка – особенно ближе к тамбуру, и, когда за окнами стало совсем темно и осталась лишь смутная белизна снега, а подмосковные дачи кончились, и в окне вместе со мной побежало отражение вагона со всеми его лампами-плафонами и сидящими пассажирами, я достал из чемодана, находившегося надо мной в сетке, книгу, начатую мною уже в Москве и специально взятую мною в дорогу в Ленинград, и открыл ее в том месте, где она была заложена закладкой с китайскими иероглифами и каким-то изящным восточным рисунком, – книгу эту я взял у своей тетки, обладательницы большой библиотеки, и в глубине души не собирался отдавать ее обратно – я отдал ее в переплет, потому что она была очень ветхая, почти рассыпалась – переплетчик подрезал страницы так, что они все стали ровными, одна в одну, и заключил ее в плотную обложку, на которую наклеил первую, заглавную страницу книги с названием, – это был дневник Анны Григорьевны Достоевской, вышедший в каком-то мыслимом еще в то время либеральном издательстве – не то «Вехи», не то «Новая жизнь», не то что-то еще в этом роде – с указанием дат по новому и старому стилю, со словами и целыми фразами на немецком или французском языке без перевода, с обязательной приставкой «М-ме» (мадам), употребляемой с гимназической прилежностью, – расшифровка ее стенографических записей, которые она вела в первое лето после своего замужества, за границей.

Достоевские выехали из Петербурга в середине апреля 1867 года и уже на следующее утро были в Вильне. В гостинице им то и дело попадались на лестнице жидочки, навязывающие свои услуги и даже бежавшие за пролеткой, в которой ехали Анна Григорьевна и Федор Михайлович, чтобы продать им янтарные мундштуки, пока те не прогнали их, а вечером на старых узких улицах можно было увидеть тех же жидочков с пейсами, которые прогуливали

своих жидовочек. А еще через день или два они прибыли в Берлин, а потом в Дрезден, и начались поиски квартиры, потому что немцы, в особенности же немки, всякие фрейлины – владелицы пансионеров или просто меблированных комнат, драли немилосердно с приехавших русских, плохо кормили, официанты обманывали на мелочах, и не только официанты, да и вообще немцы были народ бестолковый, потому что не могли объяснить Феде, как пройти на ту или другую улицу, и обязательно показывали в противоположную сторону – уж не нарочно ли? Впрочем, жидочков Анна Григорьевна заприметила еще раньше – во время своего первого прихода к Феде в дом Олонкина, где он писал «Преступление и наказание», и дом этот, по позднейшему свидетельству Анны Григорьевны, сразу же ей напомнил дом, в котором жил Раскольников, а жидочки среди прочих снующих жильцов тоже повстречались на лестнице. (Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что в «Воспоминаниях», написанных Анной Григорьевной незадолго до революции, может быть, даже уже после знакомства с Леонидом Гроссманом, о жидочках на лестнице не упоминается). На фотографии, вклеенной в «Дневник», у Анны Григорьевны, тогда еще совсем молодой, было лицо не то фанатички, не то святоши, с тяжеловатым взглядом исподлобья. А Федя уже был в летах, небольшого роста, коротконогий, так что, казалось, если он встанет со стула, на котором он сидел, то окажется лишь немного выше ростом, с лицом русского простолюдина, и по всему было видно, что он любил фотографироваться и усердно молиться. Так отчего же я с таким трепетом (я не боюсь этого слова) носился с «Дневником» по всей Москве, пока не нашел переплетчика, жадно перелистывал в транспорте ветхие страницы, выискивая глазами такие места в книге, которые я, казалось, уже предвидел, а потом, получив у переплетчика книгу, которая сразу стала увесистой, положил ее на свой письменный стол, не убирая ее оттуда ни днем, ни ночью, как Библию? Отчего ехал сейчас в Петербург – да, не в Ленинград, а в Петербург, по улицам которого ходил этот коротконогий, невысокий (как, впрочем, наверное, и большинство жителей прошлого века) человек с лицом церковного сторожа или отставного солдата? Отчего читал эту книгу сейчас, в вагоне, под неверным, мерцающим светом ламп, который то разгорался, то почти гас в зависимости от скорости движения поезда и работы дизелей, под хлопанье дверей тамбура, куда то и дело входили и откуда выходили курящие и некурящие со стаканчиками в руках, чтобы напоить детей, или помыть фрукты, или просто в туалет, дверь которого хлопала вслед за дверью тамбура, под хлопанье и стук всех этих дверей, под бортовую качку, то и дело уводившую текст куда-то в сторону, вдыхая запах угля и паровозов, которых давно уже нигде не было, только почему-то запах этот оставался? Они поселились в комнате у *M-me Zimmermann*, высокой сухощавой швейцарки, но еще в первый день приезда, остановившись в гостинице на центральной площади, сразу же пошли в галерею, – перед зданием Пушкинского музея в Москве выстроилась огромная очередь, пускали порциями, и вот где-то на площадке между этажами висела «Сикстинская мадонна», а под нею стоял милиционер, – много лет спустя в этом же музее показывали «Джоконду» Леонардо, за двойным пуленепробиваемым стеклом, специально освещенным, – очередь из «блатных», выгибаясь, подходила к картине, вернее, к бронированному стеклу, за которым, словно набальзамированный труп в саркофаге, помещалась картина с мадонной и пейзажем позади, и улыбка мадонны была действительно загадочной, а, может быть, это было просто внушено бытующей характеристикой, и рядом с картиной тоже стоял милиционер и, деликатно подгоняя очередь, потому что считалось, что она состоит из специалистов или особо приглашенных лиц, говорил: «Прощайтесь, прощайтесь», – возле картины люди старались подзадержаться, а потом, завернув обратно, влившись в уходящую петлю очереди, шли, продолжая оглядываться на картину, выламывая себе шею, повернув голову почти на сто восемьдесят градусов, – Сикстинская же мадонна висела в простенке между окнами, так что свет был боковой, а день к тому же пасмурный, – картина была подернута какой-то дымкой. Мадонна плыла в облаках, которые казались воздушным подолом ее платья, а может быть,

просто сливались с ним, – а где-то внизу слева, подобострастно глядя на Мадонну, выступал апостол с шестью пальцами на руке – я сам подсчитал, действительно их было шесть, – фотография этой картины, подаренная Достоевскому ко дню его рождения через много лет после поездки в Дрезден, уже совсем незадолго до его смерти, потому что считалось, что это его любимая картина, хотя любимой его картиной была, возможно, картина «Мертвый Христос» Гольбейна-младшего, так вот, фотография «Мадонны» Рафаэля, обрамленная деревянной рамкой, висит над кожаным диваном, на котором умер Достоевский, в музее Достоевского в Ленинграде – воздушная Мадонна держит наискосок, в полусидячем положении, так же воздушно запеленатого младенца, словно кормит его грудью, как это делают цыганки, при всех, но выражение ее лица только какое-то неуловимое, как и у Джоконды, – и такая же фотография, только поменьше и, наверное, похуже, поскольку она была уже сделана в наше время, стоит, словно нарочито небрежно оставленная там, за стеклом книжных полок у моей тетки. Достоевские ходили в галерею каждый день, как в Кисловодске ходят в курзал, чтобы выпить нарзан, или встретиться, или просто постоять, наблюдая за публикой, а потом шли обедать – нужно было выбрать ресторан подешевле, и где хорошо кормят, и где кельнеры меньше обманывают – они постоянно обманывали Достоевских на два или три зильбергроша, потому что все немцы решительно были мошенники, – однажды после очередного посещения галереи они пошли обедать на Брюллеву террасу, живописно раскинувшуюся над Эльбой, – они уже раньше заметили кельнера, которого прозвали «дипломатом», потому что он был похож на дипломата, и, кроме того, в прошлый раз они поймали его на том, что за чашку кофе он брал вдвое больше – 5 зильбергрошей вместо двух, но они его обхитрили – вместо чаевых 5 зильбергрошей Анна Григорьевна подсунула ему монету в 2 зильбергроша, которую он же дал им сдачи вместо положенных 5 зильбергрошей, – на сей раз они сильно проголодались, особенно Федя, а «дипломат» вместо того, чтобы подойти к ним, усиленно занимался каким-то саксонским офицером, который пришел позже них, – у офицера был красный мясистый нос и желтоватые глаза, и по всему видно было, что он любит выпить, – Федя позвал кельнера, однако, тот с невозмутимым видом продолжал обслуживать офицера, который заправлял накрахмаленную салфетку за тугий воротник кителя, – «дипломат» явно мстил им за прошлый раз – Федя постучал ножом по столу – «дипломат» наконец подошел к ним, но только так, мимоходом, и сказал, что он и так слышит и незачем стучать, – Федя заказал еще курицу и телячьи котлеты – через некоторое время «дипломат» принес только одну порцию курицы, а на вопрос Феде: «Что это значит?» – подчеркнуто вежливо ответил, что они заказывали только одну порцию, а потом то же самое повторилось с телячьими котлетами, – в соседней зале четыре лакея играли в карты, а в зале, где они обедали, было всего несколько посетителей, – очевидно, кельнер ошибался нарочно – лицо Феде покрылось красными пятнами – он стал громко говорить жене, что если бы он был здесь один, то он бы показал им, и даже закричал на нее, как будто она была виновата в том, что они пошли сюда вдвоем, – приподняв нож и вилку, он нарочно бросил их, так что они со звоном упали, чуть не разбив тарелку, – на них уже посматривали – они вышли не оглядываясь, – уходя, Федя бросил на стол целый талер вместо 23 зильбергрошей, которые им полагалось уплатить, и хлопнул дверью, так что задрожали стекла, – они шли по аллее, обсаженной каштанами, он – впереди, решительной походкой, она – сзади, еле поспевая за ним, – если бы не она, он бы довел дело до конца и настоял бы на своем, а теперь он уходит, оплеванный этим мерзавцем-лакеем, потому что все лакеи мерзавцы, – они воплощение самых низменных свойств человеческой природы, но во всех нас сидят задатки этого проклятого лакейства, – разве сам он не заглядывал угодливо в глаза этому мерзавцу плац-майору, когда тот пьяный, с красным носом и со своим желтым рысьим взглядом – ага – вот кого давеча напомнил ему саксонский офицер! – когда он пьяный, в сопровождении караульных, ворвался в барак и, увидев арестанта в серо-черной одежде с желтым тузом на спине лежащим на нарах, потому что арестанту в этот день нездоровилось и

он не мог выйти на работу, заорал во всю мочь своей здоровенной глотки: «Встать! Подойти ко мне!» – этим арестантом был он, человек, идущий сейчас по каштановой аллее прочь от этого ресторана и от этой террасы, живописно раскинувшейся над Эльбой, – он и тогда, в остроге, видел все это со стороны, словно это происходило во сне или не с ним, а с кем-то другим, – однажды он присутствовал в кордегардии на экзекуции – наказуемый лежал неподвижно под ударами розог, оставлявших кровавые следы на его спине и ягодице, и так же молча тот встал, аккуратно застегнул свою арестантскую одежду и ушел, не удостоив даже взглядом Кривцова, который стоял тут же рядом, – удастся ли ему так же смолчать и с достоинством уйти из кордегардии? – он вскочил с нар, лихорадочно оправляя на себе трясушимися руками свою серо-черную куртку, пошел к Кривцову, стоявшему в дверях барака, – он шел, опустив голову, – нет, не шел, а почти бежал, и это само по себе было уже унижительно, а подойдя к плац-майору, посмотрел на него, не твердо и жестко, а с мольбой в глазах – он почувствовал это по одному тому, как хищно расширились зрачки Кривцова – зрачки его желтых, рысых глаз – они были рысыми не только потому, что походили на глаза рысы, но и потому, что рыскали, выискивая очередную жертву, – он и тогда, стоя перед ним, подумал про это, и ему тогда же странным показалось, что он в такую минуту может думать об этом – впрочем, какое здесь было лакейство?! – это был страх, самый обыкновенный страх, но разве не страх рождает лакейство? – Анна Григорьевна догнала его и, продев свою руку в потертой перчатке под его локоть, виновато заглянула ему в глаза – если бы не она, он показал бы этому лакею, он поставил бы их всех на место! – он медленно перевел взгляд с ее лица на руку ее, лежавшую у него на плече, – «По-моему, в таких перчатках не пристало ходить аккуратной женщине», – медленно отчеканил он и снова перевел свой взгляд на ее лицо – губы ее задрожали, а веки как-то странно вспухли, – она еще шла рядом с ним, но только по инерции и еще потому, что ей казалось, что это относится не к ней, – он не мог сказать такого ей – оставив его, она быстрым шагом, почти бегом свернула в какую-то боковую аллею, тоже обсаженную каштанами, – на секунду оглянувшись, она увидела сквозь листву и слезы его фигуру, по-прежнему решительно шагавшую по аллее, – на нем был темно-серый, почти черный костюм, купленный в Берлине, – ему даже в голову не пришло тогда сказать ей, чтобы она купила себе новые перчатки, хотя эти уже разъезжались по швам, и она еще в дороге, при нем, два раза зашивала их, – теперь он же ее еще и попрекал, хотя деньги на их путешествие были получены от заклада вещей ее матери, – она шла по улице, почти бежала, держась ближе к домам, опустив вуаль, чтобы не было видно ее вспухшего от слез лица, а навстречу ей попадались добропорядочные немцы в котелках со своими немками, и лица у них были розовые и самодовольные, они вели за ручку детей, чисто и аккуратно одетых, и им не нужно было думать, чем расплачиваться за сегодняшний обед или ужин, и они не повышали голоса друг на друга, а Федя давеча, в ресторане, закричал на нее. Она проскользнула через дверь своего дома, стараясь остаться незамеченной, вошла в комнаты, сначала – в большую, служившую им столовой, с развешанными по стенам олеографиями, изображавшими то реку – наверное, Рейн – с отражающимися в ней деревьями, то какие-то замки на вершине горы на фоне неестественно голубого неба, затем – во вторую комнату, служившую им спальней, с двумя громоздкими кроватями и в третью, маленькую – Федину – с письменным столом, на котором лежали аккуратно сложенные листы белой бумаги и гильзы от папирос с просыпанным табаком, и вдруг поняла, что она шла сюда с тайной надеждой, что он опередил ее и уже ждет ее дома, – она решила пойти на почту, куда Федя часто заходил, но на почте его не оказалось, и писем тоже не было, – она пошла снова домой – теперь-то он уж должен был прийти – M-me Zimmermann, встретившаяся ей на лестнице, сказала, что Федя был, но ушел куда-то, – она побежала на улицу и вдруг увидела его – он шел навстречу ей, бледный, виновато и даже как-то заискивающе улыбаясь, – оказывается, он вернулся на террасу, думая, что она вернулась туда для независимости, а потом пошел в читальню искать ее, – они зашли на минуту домой, чтобы переодеться, потому что собирался

дождь, – когда они вышли, дождь лил в три ручья, но надо же было пообедать, – они зашли в Hotel Victoria и спросили три блюда, которые обошлись им в 2 талера и 10 зильбергрошей – цена страшная, потому что за котлету брали 12 зильбергрошей, ну где это видано! – но день был решительно несчастливый, – когда они вышли из ресторана, было уже 8 часов вечера, темно, шел дождь, и она раскрыла свой зонт, но не так, как это делают предусмотрительные немцы, и задела какого-то немца, проходившего мимо, – Федя раскричался на нее, потому что ее неловкость могла быть превратно истолкована этим немцем, и у нее снова вспухли глаза, но, слава Богу, в темноте этого никто не видел, а потом они пошли домой рядом, не разговаривая друг с другом, словно чужие, – а дома, за чаем, они снова побранились, хотя дальше уже было некуда, а потом она спросила его что-то насчет его предполагаемого отъезда в Homburg, и он снова раскричался на нее, и она в ответ тоже что-то закричала и ушла в спальню, а он заперся в кабинете, но ночью пришел к ней прощаться, – он приходил каждую ночь прощаться к ней, в особенности же после ссор и размолвок, так что в слово «прощаться» вполне можно было вложить и иной смысл, – он нежно будил ее, и гладил, и целовал, потому что она была его, и в его силах было сделать ее несчастной или счастливой, и это сознание своей полной власти над молодой неопытной женщиной, с которой он мог бы сделать все, что ему заблагорассудится, походило, наверное, на то чувство, которое я испытываю к маленьким гладким собачкам, которые уже при одной только протянутой к ним руке, даже для ласки, начинают пугливо и заискивающе вилять хвостом, прижиматься к земле и дрожать мелкой дрожью, – он обнимал ее, целовал в грудь, и начиналось плавание – они плыли большими стежками, выбрасывая одновременно руки из воды, одновременно набирая воздух в легкие, все дальше от берега, к синей выпуклости моря, но почти каждый раз он попадал в какое-то встречное течение, которое относило его в сторону и даже чуть назад, – он не поспевал за нею, а она продолжала все так же ритмично выбрасывать руки и терялась где-то вдали, и ему казалось, что он уже не плавает, а только барахтается в воде, пытаясь достать ногами дна, и это течение, относившее его в сторону и не дававшее ему плыть вместе с ней, странным образом обращалось в желтые глаза плац-майора с хищно расширившимися зрачками, в поспешность, с которой он расстегивал свою арестантскую одежду, чтобы лечь на отполированный сотнями тел низкий дубовый стол, стоявший посередине кордегардии, в стоны, которые он не смог сдержать, когда на его тело обрушились удары розог, как будто через его мышцы и кости протягивали раскаленную проволоку, в судорожные корчи, которые начались у него после экзекуции, в насмешливые или сострадательные взгляды присутствовавших при этом, в брезгливую улыбку плац-майора, когда он велел вызвать врача и, круто повернувшись на каблуках, вышел из кордегардии, и точно такое же возникало у него с другими женщинами, потому что все они, так же как и Аня, незримо присутствовали на экзекуции – заглядывали в зарешеченные окна кордегардии, в дверь, пытались зайти, чтобы заступиться за него, но их не пускали, – все они были свидетелями его унижения, и он ненавидел их за это, потому что это не позволяло ему испытывать всей полноты ощущений, а сегодня ко всему этому примешивались еще наглый взгляд лакея, издевавшегося над ними, и лицо саксонского офицера, напоминавшее лицо плац-майора. Он давно уже заприметил в зале галереи, где висела Сикстинская Мадонна, мягкий с изогнутой спинкой стул, стоявший как-то отдельно от других стульев, на которые присаживались посетители галереи, чтобы отдохнуть или полюбоваться картиной, – на него почему-то никто не садился – может быть, он предназначался для служителя, а, может быть, представлял собой какую-то историческую ценность – и, когда он в первый раз подумал о том, чтобы сделать это, холод пробежал по его спине, настолько это казалось неосуществимым и дерзким. Проходя мимо стула, он примеривался и раз даже чуть уже не занес ногу, но в зале было много народа, и служитель в форменной куртке со скучающим видом подпирал стену. А может быть, как раз и следовало сделать это при всех и при служителе особо, потому что именно служитель должен был воспротивиться этому. Когда он подходил к стулу,

сердце его проваливалось куда-то, и он задерживался только на секунду, словно раздумывал, с какой стороны обойти этот стул, а затем проходил дальше и с преувеличенным интересом вглядывался в Мадонну. Но в эту ночь, когда Аня уплыла так далеко от него, и он барахтался где-то возле берега и не мог достать дна, – в эту ночь он твердо положил себе сделать это. Когда утром они, как обычно, вошли в галерею, он сразу же пошел в зал, где висела Сикстинская Мадонна, сердце его стучало, отдаваясь в ушах, – перед картиной толпилось много народа, некоторые стояли или сидели чуть поодаль со зрительными трубами – через них лучше было видно, так как взгляд не расплывался, а сосредоточивался на картине, – в первый момент он не увидел стула, и по тому, как перестало биться и трепыхать его сердце, он понял, что внутренне обрадовался этому. Но оказалось, что стул был просто загорожен людьми, служитель тоже находился в зале, при полной форме, в ливрее с золочеными пуговицами – Федя решительными шагами пошел к стулу, даже как-то расталкивая посетителей, – Анна Григорьевна, зашедшая в зал вместе с ним, стояла где-то в стороне и даже, кажется, взяла зрительную трубу – он ступил ногой на стул, закрыв глаза, или, может быть, просто он ничего не видел в этот момент, потом стал другой ногой – башмаки его ушли вглубь мягкого сиденья – поверх голов присутствующих картина была видна особенно хорошо – плывущая в облаках Мадонна с младенцем на руках и благоговейно глядящий на нее снизу вверх апостол, а сверху ангелы, – в общем-то он для этого и встал, потому что нужно же было придумать какое-то объяснение для этого лакея, когда он будет пытаться стащить его со стула, – «Федя, ты с ума сошел!» – Анна Григорьевна стояла рядом с ним, испуганно глядя на него снизу вверх, и даже осторожно потянула его за рукав – он возвышался теперь над всеми посетителями – все они были пигмеями, и таким же пигмеем был служитель, устремившийся к нему – на том месте, где только что висела картина, появилось лицо плац-майора с бычьей шеей и массивным подбородком, подпертым тугим воротничком мундира, он улыбнулся застенчиво и даже как-то заискивающе, и это уже была не одна его физиономия, а вся фигура, почему-то тщедушная и кланяющаяся, а там, где только что стояли посетители, на месте их голов было море, – и они с женой плыли по этому морю в синеватую даль, ритмично выбрасывая руки, одновременно вдыхая воздух, все дальше и дальше удаляясь от берега, а плац-майор почти совсем исчез, только где-то вдалеке маячила его жалкая согбенная фигура – фигура нищего, просящего подавание, – «Господин, у нас запрещено становиться на стулья», – сказал служитель и строго посмотрел на хорошо одетого человека, стоявшего на стуле, – служитель подвинулся вперед и приподнял руку, словно предлагая ее для опоры стоявшему на стуле, – он сошел, почти спрыгнул со стула, оттолкнув руку служителя, и увидел в углу залы Анну Григорьевну – за это время она успела отойти туда и теперь делала вид, что упорно рассматривает картину в трубу, но руки ее, державшие трубу, дрожали, – «Ради Бога, уйдем отсюда», – сказала она охрипшим от волнения голосом, когда он подошел к ней, – посетители оглядывались на них и перешептывались о чем-то, – взяв его под руку, она повлекла его к двери, ведущей в другую залу, – он должен был выстоять на стуле до конца, несмотря на замечание лакея, а он все-таки не выдержал и сошел – лицо плац-майора, появившееся теперь в широком окне залы, нагло улыбалось, а его рука, толстая и мясистая, ухарски и победоносно разглаживала усы, а в окна кордегардии заглядывали какие-то люди – близкие знакомые наказуемого и женщины – и взгляды их полны были сострадания и участия, а он лежал на столе со спущенными штанами, и караульный методично хлестал его, – он резко освободился от руки Анны Григорьевны – она решительными шагами, опустив голову, вышла в соседний зал – стул не должен был оставаться пустым, это было неестественно – пустой стул, – он быстро направился к центру залы, и вот уже ноги его снова погрузились во что-то мягкое, сквозь которое ощущались пружины – теперь он будет здесь стоять столько, сколько он захочет, он должен перебороть в себе это низкое чувство перед лакеем, неужели он не сможет преступить через эту черту? – в зале притихли, словно перед поднятием занавеса, – лицо плац-майора, появившееся теперь снова на месте

картины, было наглым и подмигивающим, – размахнувшись, он наотмашь ударил его ладонью по щеке, и оно исчезло, провалилось куда-то, наверное, с самим плац-майором, который лежал на полу возле отполированного стола – арестант, которого он только что пытался наказать, стоял в торжествующей позе, наступив ногой на живот плац-майора, а зрители, заглядывавшие в окна, шумно рукоплескали ему, и женщины, в особенности те, с которыми он был близок, смотрели на него восторженно и посылали ему воздушные поцелуи, – он сошел со стула, не торопясь, не соскочил, а именно сошел и медленно направился в соседнюю залу – в двери он столкнулся со служителем, который, видимо, отлучался куда-то, и лакей почтительно уступил ему дорогу, а ночью, когда он пришел к Ане прощаться, они снова поплыли вместе, ритмично выкидывая руки, одновременно поднимая головы из воды, чтобы вдохнуть воздух, и течение не сносило его – они плыли к удалявшемуся горизонту, в неведомую синюю даль, а потом он снова целовал ее – темный треугольник вершиною был обращен вниз, и вершина эта всегда казалась ему недоступной, словно вершина высочайшей горы, тонувшей где-то в облаках, хотя та вершина, к которой стремился он, была обращена вниз, – впрочем, скорей, это было дно вулканического кратера – в этой вершине и в этом недостижимом дне крылась страшная и сладкая разгадка чего-то такого, чего он не мог ни назвать, ни даже представить себе, и потом всю жизнь, даже в письмах к ней, он без конца стремился приблизиться к этой вершине-кратеру, но она оставалась недоступной, – выстоял ли он давеча на стуле в зале, где висела Мадонна, столько, сколько он хотел? – ведь служитель отсутствовал, когда он во второй раз стоял на стуле, и поэтому нельзя было утверждать, что он выстоял вопреки воле служителя, хотя решил же он про себя, что будет стоять, пока не выведут, – пусть бы вывели его – служитель и даже, может быть, полицейский потащили бы его через всю залу на глазах у всех и у Ани, и все покатило бы вниз, под гору, быстрее и быстрее, и тогда он бы уже не поднялся с отполированного стола, на котором его наказывали, и лицо плац-майора нависало бы над ним синюшно-красным шаром, словно брюхо напившегося кровью комара, и вся жизнь его превратилась бы в сладкую пытку, потому что от такого унижения уже только дух могло захватывать, но не произошло ни того, ни другого – он сошел, хотя и по собственной воле, но не дождавшись служителя, и в то же время не довел дело до скандала – запретная вершина треугольника, прячущаяся в облаках и в то же время уходящая в земные недра, может быть, к самому центру земли, где постоянно кипит лава, вершина эта оставалась недоступной – Аня нежно гладила его по лицу, но он, даже не сказав ей, как обычно: «Покойной ночи», – ушел к себе, а через полчаса она проснулась от странного звука – не то хрипенья, не то клокотанья, – засветив дрожащими руками свечу, она бросилась к постели мужа – он лежал на самом краю ее, сгибаясь всем телом так, как будто хотел присесть, но ему мешала невидимая веревка, которой он был привязан к кровати, с посиневшим лицом, с пеной у рта, – она изо всей силы подтянула его к середине кровати, чтобы он не упал, и, встав на колени, принялась вытирать полотенцем пену с его губ и пот, катившийся с его лба, – теперь он лежал спокойно, с бледным, словно у мертвеца, лицом, – невидимая веревка взяла свое – он так и не сумел сесть, неужели это был ее муж?? – этот человек с посиневшим лицом, пытающийся сесть в кровати, преодолевая чье-то невидимое сопротивление, с вскипающей на губах пеной, с жидковатой всклокоченной бородой, сбившейся куда-то набок, – неужели это к нему несколько более полугодом назад она поднималась по узкой мрачной лестнице с крутыми ступеньками, оправляя свою мантильку, с бьющимся от волнения сердцем, заглушавшим стук ее каблучков, с прерывающимся от волнения дыханием, в сотый раз заглядывая в свою сумку, куда она положила купленные только что в Гостином дворе новенькие карандаши и пакетик почтовой бумаги (не потеряла ли она их?), ловко опередив на час свою подругу по курсам, тоже лучшую ученицу, потому что с того момента, как она узнала, что ему нужна стенографистка, все вокруг нее поплыло и закачалось, как на корабле во время шторма, – огромной волной снесло все снасти и даже перила – оставалась только одна мачта, и все

находившиеся на палубе пытались добраться до этой мачты и обхватить ее руками, чтобы их тоже не смыло в море, но ухватиться за эту мачту мог только один человек, и этим одним человеком должна была стать она, – он встретил ее в прихожей, чуть наклонив набок голову, словно рассматривал какое-то неведомое ему насекомое, а из другой двери показался какой-то неопрятный молодой человек с брюзгливым выражением лица – его пасынок, – молодой человек надменно и нагло улыбнулся, и потом, когда она приходила, он снова так же улыбался и еле кивал ей, – а он привел ее в небольшую комнату с письменным столом, еще с каким-то круглым столиком, несколькими стульями с выцветшей обивкой и, усадив ее за круглый столик, принялся ей диктовать, – в этот день он больше не взглянул на нее, а ходил взад и вперед по комнате и диктовал глухим неприятным голосом, и она боялась его переспросить, потому что ей казалось, что он ее сейчас же отправит, но надо было удержаться, схватиться за мачту прежде других, и она, теряя равновесие, падая, неуклонно подвигалась к этой мачте – на третий или четвертый день работы она поймала на себе его взгляд, живой и испытующий, и ей на секунду показалось, что он хочет подойти к ней и сказать что-то или спросить, но она строго опустила глаза, с преувеличенным интересом всматриваясь в только что сделанные ею стенографические записи, – она почти уже ухватила за мачту, но не следовало торопиться, чтобы не потерять в последний момент равновесия, – с каждым разом он подходил к ней все ближе и ближе – он шагал теперь не из угла в угол комнаты, как в первые разы, а вокруг нее, и круги эти с каждым разом становились все уже и уже – паук, приближающийся к мухе, – и что-то сладко-запретное было в этом неизбежно суживающемся кружении и для него, и для нее, и захватывало дух, но она все так же строго, теперь даже аскетически закрывала глаза, избегая его взглядов, но не она ли ткала эту паутину, может быть, они оба вырабатывали ее? – нити паутины провисали, и в иной момент, казалось, могли порваться, но этот иной момент было только открывание двери кабинета с просовыванием головы пасынка, с его наглой, надменной и обличающей ухмылкой, так что диктовавший переходил с кругов снова на диагонали – из угла в угол – и старался не взглядывать на стенографистку, но это было выше его сил, а она встречала появление пасынка тяжелым взглядом в упор исподлобья, может быть, тогда он у нее впервые и появился, этот взгляд, которым она смотрит с фотографии на первой странице «Дневника», – в конце концов, вся эта паутиная возня кончилась тем, чем должна была кончиться: он сладко ужалил свою жертву, а она ухватила за мачту и прижалась к ней всем телом, чтобы ее не смыло и чтобы никто другой не смог за нее ухватиться. Он рассказал ей все: и про каторгу, и про падучую, и про безденежье (о котором она и так догадывалась). И про договор со Стелловским, согласно которому он должен был представить новый роман не позднее тридцатого числа этого месяца – в противном случае все права на издание его произведений переходили к Стелловскому, – он сидел за круглым столиком напротив нее и угощал ее чаем с кренделями, которые он сам выбрал в кондитерской на Вознесенском проспекте – сладости он любил покупать сам, и здесь в Дрездене, возвращаясь с почты или из галереи, он накупал всякие лакомства, которые она любила, и, кроме того, ягоды и фрукты – из окна она видела, как он приближался к дому, нагруженный покупками, неся в обеих руках свертки, – она ждала его возле двери – он любил, чтобы она выходила ему навстречу и принимала покупки из его рук, и сердился, если она чуть запаздывала, – в петербургской квартире, сидя за круглым столиком напротив нее, он сам наливал ей чай и надтреснутым голосом рассказывал ей о себе – она уже не опускала глаз, а смотрела на него прямо, в упор, и этот взгляд исподлобья в упор казался ему ясным и кротким, и, наверное, таким он и был, этот взгляд, – иногда он теребил свою бороду, а когда он вставал и шел на кухню, чтобы принести еще чаю, ноги его как-то странно передвигались, почти не сгибаясь в коленях, как будто они еще были связаны цепями, а потом он стал ездить к ним домой на Пески, и маменька ее суетилась, накрывая на стол, и еще они как-то поехали вместе на пролетке – он подвозил ее куда-то – и когда на каком-то людном перекрестке кучер осадил лошадей, она по инерции

наклонилась вперед, и, хотя ясно было, что она не упадет, он придержал ее за талию, даже на секунду обнял, и она вспыхнула, и потом, уже после свадьбы, они поехали в Москву и остановились в гостинице Дюссо, в небольшом номере на третьем этаже, откуда были видны заснеженные колокольни и купола московских церквей, а внизу – засыпанные снегом улицы с наезженными от саней колеями, из гостиницы каждый почти день они отправлялись на санях, укрывшись теплым меховым пологом, к его сестре, жившей на Старой Басманной, по дороге они останавливались возле Меншиковой башни, а затем возле церкви Успенья Богородицы на Покровке, они выходили на несколько минут, чтобы обойти церковь вокруг, – она была в Москве в первый раз, и он показывал ей все так, как хозяин дома показывает свои вещи, которыми он гордится, – когда выйдя из саней, они направлялись к церкви, он на минутку останавливался, снимал шапку и крестился, кланяясь, и она тоже крестилась и кланялась, а в квартире у его сестры она ловила на себе неприязненные взгляды домочадцев, потому что они мыслили женить Федю на какой-то своей родственнице, и это не получилось, она отвечала им взглядами исподлобья, но, когда Федя уходил в соседнюю комнату или оживленно беседовал с барышнями, ей начинало казаться, что мачта, за которую она теперь уже прочно держалась, настолько прочно, что даже уже забыла, что она держится за нее – мачта эта вдруг начинала выскальзывать из ее рук, и она, опустив глаза, делала вид, что оправляет оборки на своем платье, но пальцы ее, помимо ее воли, комкали материю, и она чуть приподнималась на стуле, снова поправляя кринолин, а в гостиничном номере, когда в коридоре все затихало, он, так же как и здесь, в Дрездене, приходил к ней прощаться, и они принимались плавать, выбрасывая из воды руки, и заплывали так далеко, что очертания берега терялись, а в Петербурге снова начались неприязненные взгляды пасынка и жены его покойного брата, Эмилии Федоровны, сухонькой дамы, с колющими угольного цвета глазами, и все они хотели отобрать его у нее, и в квартире у них то и дело стали появляться кредиторы, полные и самодовольные купчики с толстыми золотыми кольцами на толстых коротких пальцах, с брелками на тяжелой золотой цепочке, свисавшей из жилетного кармана, – все они требовали уплаты долга за прогоревшую табачную фабрику его брата и за прежнюю редакцию братьев, и он вел с ними какие-то бесконечные переговоры, а потом явился квартальный надзиратель в фуражке с голубым околышем и, прищелкнув каблуками, объявил, что завтра будут описывать их имущество, и тогда она поехала к маменьке, и маменька, перекрестив ее и поцеловав в обе щеки, сказала, что заложит свои фамильные вещи, – они временно откупились от кредиторов и от описания имущества и выехали из Петербурга за границу, подальше от всего этого кошмара, от неприязненных взглядов, от пасынка, от кредиторов, и когда они сели в вагон, ей казалось, что теперь начинается новая для них жизнь, – он по-прежнему лежал, хотя уже не пытался сесть, дыхание его еще было беспокойным, прерывистым, и воздух с шипением вырывался сквозь его стиснутые зубы, превращаясь на губах в пену, где-то там, внутри его горла что-то клокотало и булькало, как будто он набрал воды и полоскал ею горло, – она все так же стояла на коленях, вытирая полотенцем пену и пот, дотрагиваясь до его лба, который теперь, как и все лицо, стал бледным, вглядываясь в его глаза – они были открыты, и взгляд их был устремлен на нее, но он не узнавал ее, а на стене отбрасываемая колеблющимся светом свечи плясала тень от его взлохмаченной бороды, похожая на фигуру какого-то косматого чудовища, – ей вдруг стало страшно, и она бросилась к двери, чтобы позвать *M-me Zimmermann* или хотя бы служанку, или вызвать врача, но он тихо и отдельно позвал ее, и она снова уже стояла возле него на коленях, смотрела ему в глаза, гладила его лоб, а он, отыскав ее другую руку, притянул ее к себе и прижал к губам, – через тринадцать с половиной лет он точно так же притянул к своим губам ее руку, после того как она прочла ему загаданное им в Евангелии место, и попросил пригласить к нему детей, чтобы попрощаться, – он лежал тогда в своей петербургской квартире на кожаном диване со спинкой под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему ко дню рождения, – почти таким запечатлел его Крамской – голова его чуть тонет в приподнятой

подушке, но только чуть-чуть, так что от головы его радиально в виде лучей расходятся морщины, образовавшиеся на подушке, глаза закрыты, выражение лица строгое и вместе с тем умиротворенное, как это бывает почти у всех мертвых, и длинная, почему-то темная борода из завивающихся в виде колец волос – точно такую же бороду я вижу почти каждое утро в троллейбусе – она принадлежит старику, бодро садящемуся в троллейбус на остановке возле двухэтажного чистого особняка, окна которого всегда занавешены и на котором висит доска с надписью: «Совет по делам религии при Совете Министров СССР» – старик держится прямо, в руке у него толстая суковатая палка, а на голове старомодная фуражка, вроде тех, что носили когда-то лавочники или просто мешане, – наверное, она с тех пор у него и сохранилась, одежда на нем тоже какая-то старомодная, что-то вроде косоворотки, поверх которой надет пиджак, – все поношенное, но чистое и аккуратное, – усевшись, он кладет обе руки на верхний конец своей палки – одну руку на другую – и руки его тоже хорошо ухоженные и крупные, выражение лица его строгое и постное, борода чуть задрана вперед – я почему-то стараюсь не попадаться ему на глаза и исподтишка рассматриваю его – он выходит вместе со мной, на той же остановке, но идет не к метро, а дальше – идет быстро, обгоняя меня, и поворачивая за угол, направляется к церкви, где через несколько минут должна начаться утренняя служба.

Поезд загрохотал по мосту, и я, оторвавшись от книги, прижался лицом к окну и приставил ладони к лицу наподобие шор, чтобы отгородиться от яркого освещения, – сквозь смутную белизну зимней ночи, хотя еще был только вечер, да к тому же еще и не поздний, где-то вдалеке виднелось множество мерцающих огней – захлопали двери тамбуров, какие-то пассажиры с чемоданами в руках стали пробираться к выходу, сталкиваясь с выходящими из тамбура какими-то детьми и девицами со стаканами и с термосами в мокрых руках, отряхивая руки, просушивая их на воздухе, потому что полотенца в туалете, наверное, не было, или оно было настолько мокрым и захватанным, что было уже непригодно для использования. Поезд подходил к Калининскому вокзалу. За окном замелькали огни привокзальных построек, где-то за ними – теряющиеся вдали цепочки уличных фонарей, шлагбаум с освещенной будкой, притушенные фары машин, ожидающих возле шлагбаума, снова огни, уже более яркие, затем прямо под окном медленно поплыла высокая платформа, ярко освещенная, заснеженная, с фигурами людей в зимних пальто и полушубках, с чемоданами в руках, затем здание вокзала, тоже с ярко освещенными окнами, за которыми тоже виднелись фигуры людей – в ресторане, в зале ожидания, у билетных касс, возле газетного киоска, – вагон остановился, чуть миновав здание вокзала, – снова захлопали двери, и из тамбура ворвались клубы морозного пара, на платформе засуетились, побежали – одни, отыскивая свой вагон, другие, выскочившие из поезда без пальто, – в поисках пива, пирожков и газет, – по другую сторону платформы и вокзала стоял точно такой же поезд с красными вагонами, только шедший в противоположном направлении – из Ленинграда в Москву, но именно в Калининском они встречались и останавливались, – после покупки пирожков или газет, засуетившись и в спешке, вполне можно было перепутать поезда и уехать в противоположном направлении, – а где-то там, по обе стороны от этих симметрично стоящих поездов, в снежной мгле, освещаемые лишь цепочками уходящих во мрак редких фонарей, раскинулись дома неведомого мне города – Достоевский приехал сюда из Семипалатинска, прямо из ссылки, с первой своей женой, Марьей Дмитриевной, чахоточной и истеричной женщиной, и вначале поселился в гостинице, а затем через несколько дней в трех меблированных комнатках близ почтамта, – было начало осени, но скоро надвинулась настоящая осень с рано наступающими вечерами, с поздними рассветами, с дождями – город утопал в грязи, а он все бегал из одного ведомства в другое, затем на почту, посылал всемиловейшие просьбы и ходатайства о выдаче разрешения на жительство в Санкт-Петербурге, прилагал врачебные справки, бегал ночью встречать на станцию брата, ехавшего из Петербурга в Москву, потом на обратном пути снова бегал его встречать, кто-то еще проезжал мимо Твери, и он опять бежал ночью на станцию, отстоявшую в трех верстах от почтамта, –

уже немолодой, с развевающимися полами вытертого сюртука, с неестественными, словно нафабранными, короткими усиками, еще не сбритыми после унтер-офицерства, в чин которого он был возведен за смиренное поведение, бросающийся из стороны в сторону, то вправо, то влево, к подъезжавшим к Твери из Москвы или Петербурга, кланяющийся, громко говорящий, требующий, хватающий высокопоставленных господ за фалды фрака или мундира, просящий выслушать, умоляющий, хитро рассчитывающий свои ходы, чтобы не продешевить, почти как те жидки, которые впоследствии преследовали его и Анну Григорьевну в Вильне, предлагая свои услуги, слезно просящий в письме к брату купить для Марьи Дмитриевны шляпку, обязательно фиолетовую, потому что нельзя же ходить простоволосой, а здесь ничего не купишь, – через одиннадцать лет во время повторного пребывания его с Анной Григорьевной в Дрездене в очередной меблированной квартире, расположенной в угловой части дома, потому что угол дома это была вершина треугольника, к которой он всегда стремился, в квартире этой, на письменном столе с традиционной оплывшей свечой и стаканом крепкого чая, в одну из ночей появятся первые записи, сделанные мелким, почти каллиграфическим почерком, и из тумана начнет вырисовываться фигура Князя*, этой главной антитезы самому себе, воплощения несбыточной мечты своей, этого сверхчеловека с демоническими чертами лица, шагающего твердой дьявольской походкой по шатким мосткам, проложенным вдоль одной из утопающих в грязи и ночном мраке улиц губернского города, в котором он поселился после ссылки, а рядом со Ставрогиным, нет, не рядом, а позади и ступая по грязи, потому что рядом и по тем же мосткам он не смел, мелкими шажками засеменит Петр Степанович Верховенский, быстро и гладко говорящий, изворотливый, угодливый, а если надо, убивающий, с сероватым лицом и даже, может быть, остриженный под машинку, странно напоминающий мне одного моего знакомого – мы учились с ним в одном классе и даже почти дружили домами – отец этого моего одноклассника часто бывал у нас в доме – в основном он приходил к моему дедушке, с которым он был почти ровесником, но был пристрастен к женщинам и часто менял жен, причем все они были русскими, а сам он, естественно, был евреем, – он был пианистом, как потом я понял, третьесортным – рядовым преподавателем консерватории или даже музыкального училища, но тогда я, пытавшийся сочинять какую-то музыку, смотрел на него, как на нечто загадочное и недоступное, почти как на бога, и, когда он однажды – только однажды, и поэтому он уже совсем превратился для меня в бога – однажды, придя к нам, сел за пианино, открыл крышку, которую открывал я, прикоснулся к клавишам, на которых я разыгрывал свои экзерсисы, когда он, сев за наше обыденное, стоявшее в столовой и слегка расстроенное пианино, начал играть вальс Шопена – седьмой вальс, тот вальс, который я тщетно пытался разучить, и руки его с вспухшими синими жилами, как я позже узнал, венами, с быстротой ласточек забегали, запорхали по клавиатуре, какой-то сладкий комок подступил к моему горлу, и на глазах моих, наверное, даже навернулись слезы, – он был небольшого роста, сухощавый, подвижный и умер еще до войны от сердечного приступа даже, кажется, прямо на улице, еще раньше моего дедушки, наверное, от своего излишнего сластолюбия, а сын его, мой одноклассник, родившийся от последней его жены, простой женщины, пухлой, с круглым лицом, о которой у нас в доме говорили, что она похожа на кухарку или домработницу, – ее даже, кажется, не принимали у нас в доме, а может быть, он и сам не брал ее с собой в гости, – так вот, сын их, одноклассник мой, был, как и отец его, тоже какой-то подвижный и озорной, обладал по наследству хорошим слухом, но презрительно относился к музыке, плохо учился и из седьмого или восьмого класса ушел в авиационное училище, а потом после войны я несколько раз встречался с ним, – он, как и отец, был небольшого роста, подстрижен под машинку, чтобы меньше выступала плешь на его темени, говорил быстро и много и очень гладко и уже успел развестись, жениться и обзавестись детьми от второго брака, но жаловался, что у него барахлило сердце, и поэтому он не летал, а работал не то диспетчером, не то штурманом в аэропорту города, в котором мы когда-то жили, и, узнав,

что я был там проездом, вернее, пролетом, вышел ко мне в зал ожидания и потом проводил меня до самого самолета, так что нас пропустили даже без очереди, а пассажиры, ожидавшие выхода на посадку, почтительно посторонились, когда мы проходили к железной калитке, ведущей на летное поле, – он шел рядом со мной, небольшого роста, в форме работника гражданской авиации, с непонятными для меня знаками на петлицах, держа в руке голубую форменную фуражку с золотистой эмблемой – с сероватым лицом, с плешью, что-то быстро говоря мне – кажется, о том, что ему надоела эта работа и он устал и послал бы все это к черту, вставляя при этом нецензурные слова, но как-то особенно, не выделяя их, а употребляя их как один из неотъемлемых элементов своей речи, – в детстве наши семьи летом жили в соседних дачах, и он тогда уже влезал на забор и кричал: «Аллилуйя, хрен тебе в голову!» – впрочем, это рассказывала моя мама много лет спустя после того, как мы жили на даче, да и сейчас вспоминает об этом, как только речь заходит об этом моем бывшем однокласснике, – Петр Верховенский семенил вслед за Ставрогиным, а потом даже, кажется, пытался схватить его за рукав, потому что ему надо было что-то вымолить у Ставрогина, но Князь, сверкнув в темноте своим демоническим взглядом, отшвырнул его в сторону, и точно так же отшвырнул он в сторону Федьку-каторжника, поджидавшего его на мосту в темную ненастную ночь, и так же дьявольски сверкнули его глаза и нож в руках Федьки, который хотел заколоть Князя, но Князь одним движением вырвал его из рук Федьки и милостиво вернул его Федьке – Князь возвращался из Заречья, из дома Лебядкина, после свидания с Хромоножкой, – через несколько дней, а может быть, даже уже и назавтра, среди ночи, во время скандального бала у губернатора, вспыхнуло пожаром это Заречье – не на месте тех ли мерцающих огоньков, которые я видел из окна вагона, располагалось оно, это Заречье? – и прямо с бала и изо всех мест города побежали люди на пожар – побежали толпами, как это всегда бывает при пожарах, и Ставрогин с Лизой, очередной жертвой своей холодно-расчетливой страсти, тоже прибыл на этот пожар – дом (уж не лебядкинский ли?) был объят пламенем, соседние дома тоже пылали, выстреливая раскаленными докрасна бревнами, из которых, словно бенгальские огни, рассыпались с сухим треском искры, – Ставрогин держал за руку Лизу, которая была бледна и, конечно, дрожала, несмотря на красные отсветы огня и жар, исходивший от пламени, – только что, за полчаса до этого, она отдалась Князю и, как все благородные девицы, дрожала после этого и была бледна – ах как, скрипя зубами, мечтал о таких победах автор и герой «Записок из подполья», и рассказчик из «Униженных и оскорбленных», и герой «Белых ночей», и, конечно же, Макар Девушкин, – пожар, эта мучительно-сладостная феерия, был почти контрапунктом романа, – а на подходах к этому контрапункту возвышался Собор, конечно же, на Соборной площади, и жид Лямшин подпускал мышь за стекло к иконе Казанской Божьей матери, вделанной в стену возле главного входа в Собор, предварительно разбив стекло, и на следующий день все благонравные граждане губернского города подходили к Собору, стояли подолгу и молча, осуждающе кивая головами, расходились, но молчали – вот ведь что важно, и в этом, наверное, сказывалась величайшая терпимость православия и даже, наверное, его мессианское предназначение, а жид Лямшин развлекал гостей, когда собирались «наши», – ловко играл на пианино, изображал гусей, свиней, разных почтенных людей, и даже, наверное, самого губернатора, и вообще кривлялся и строил из себя шута, а уже после пожара, в момент самого главного контрапункта – убийства Шатова в отдаленной сумрачной части ставрогинского парка в ненастный осенний вечер возле грота на берегу пруда, дико и истерически завизжал, а потом весь следующий день тряся от страха, не вылезая из-под одеяла, изображая из себя больного, притворяясь и рассчитывая как бы обмануть, – фигура вчера еще ссыльного, только что вернувшегося из Семипалатинска, с нафабранными усиками и с развевающимися полами сюртука металась из стороны в сторону, хватаясь за фалды и петлицы мундиров и фраков со звездами, умоляя, заклиная, требуя, расставляя хитрые ловушки, чтобы получить право жительство в Петербурге и продолжить свою литературную

карьеру, – я был возле этого грота, который помещается, однако, не в Твери, а в Москве, на территории бывшей Петровско-Разумовской, а ныне – Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, на берегу пруда, точнее, озера, или даже, скорей, искусственного водоема, потому что теперь там целая серия таких озер с вышками для прыжков в воду, с лодочными станциями и с лодками, бороздящими в разных направлениях эти озера, с деланно веселыми и хриплыми криками, несущимися с этих лодок, в которых прогуливается, развлекается или просто загорает молодежь Тимирязевского района столицы, – среди летнего дня неожиданно набежала, напозла темно-фиолетовая туча, подул ветер, и лодки сразу же стали причаливать к лодочным станциям, а загоравшие стали одеваться и торопиться домой, и крыша грота, на которой какие-то орудия подростки играли в мяч, тоже опустела, – грот был с колоннами и с железной решеткой, чтобы нельзя было зайти туда внутрь, но в глубине грота, в темноте, достаточно ясно проглядывались следы человеческого пребывания – решетка не помогала, а обе скошенные части грота были посыпаны крупным щебнем, чтобы придать гроту большую декоративность, – стало почти темно, как вечером, и мне даже показалось, что я слышу, как шумят верхушки деревьев, как это было в тот осенний вечер, когда убивали Шатова и Лямшин бился в истерике, в ужасе хватаясь за одежду окружавших убитого людей и испуская страшный крик, так что его пришлось связать и всунуть в рот какой-то кляп, – упали первые капли дождя, фиолетовую тучу прорезала молния, громыхнул гром, и я уже тоже бежал по аллее парка, скорей к выходу, чтобы успеть спрятаться от надвигающейся грозы, – наверное, в каком-то из этих двух или трех зданий с колоннами, задней стороной обращенных в парк, а фасадом выходящих на улицу, жил брат Анны Григорьевны, студент Петровско-Разумовской академии, – она побывала у него здесь в один из тех дней, которые они провели с мужем в Москве, сразу же после свадьбы, остановившись в гостинице Дюссо, по вечерам приезжая к сестре мужа, жившей на Старой Басманной, когда Анна Григорьевна сидела на стуле, опустив глаза, и с преувеличенным старанием разглаживала складки на своей юбке, и мачта, за которую она ухватилась, казалось ей, выскальзывала из ее рук, – брат ее, согласно ее же описанию, имел открытую, располагающую наружность – молодой, румяный, белокурый, веселый – словом, такая русская кровь с молоком, – она засиделась у него дольше положенного времени, потому что в комнату, где он жил, непрерывно входили студенты, новые и новые, интересуясь женой автора «Преступления и наказания» – по крайней мере, так она рассказывает, – и половой вносил один самовар за другим, а Федя в это время стоял на перекрестке улиц возле гостиницы Дюссо и в темноте зимнего вечера, который уже наступил, пока она сидела у брата, всматривался в женские фигуры и лица, пронесившиеся на извозничьих пролетках, – так и осталось непонятным, видел он когда-нибудь этот грот или нет? – поезд давно уже шел, оставив где-то позади мерцающие в снежной мгле огни Калинина, наращивая вместе со скоростью бортовую качку – из стороны в сторону, так что книгу приходилось придерживать, чтобы она не сползала, – там, в книге, тоже шел поезд с никогда не виданными мною вагонами – низкими, – вроде тех заграничных, которые ходят до Будапешта или Белграда, с надписью: «Vagon letti», но не цельнометаллическими, а деревянными, с множеством дверей, каждая из которых ведет в отдельное купе или отделение, с двумя мягкими, покрытыми плюшем скамьями, расположенными друг против друга, на которых, плавно покачиваясь в такт движения поршня в машине, бегущей со скоростью тройки почтовых лошадей, по трое на каждой скамье сидят господа и дамы с круглыми картонными коробками на коленях и с саквояжами в сетках – мужчины в цилиндрах и с тростями, дамы в высоких широкополых шляпах с перьями, с вуалью, закрывающей их лица, и в дорожных мантильях, – пока Федя на секунду отлучился куда-то, на его место сел какой-то немец, Fritz, – он ехал со своей сестрой, старушкой, и был к ней очень трогателен, но места не хотел уступить, потому что, утверждал он, Федя положил свои вещи не на сиденье, как следовало, чтобы место считалось занятым, а наверх, на сетку, – вернулся Федя и объявил, что своего места не уступит, но пока что сел возле окна на место

старушки, которое почему-то оказалось не занятым (может быть, старушка вышла?), – вызвали кондуктора, немец стал красным, как все немцы, когда они начинают злиться или дуться, и сказал, что это «recht» и что он своего места не уступит, но потом почему-то оказался на другом месте, рядом с Анной Григорьевной, но стал так толкаться, что они снова все как-то пересели так, что в конце концов все остались довольны. Достоевские ехали из Дрездена в Баден, где Федя собирался выиграть на рулетке большую сумму, чтобы расплатиться с долгами, – он уже и до этого уезжал из Дрездена в Homburg, оставив Анну Григорьевну на попечение Mme Zimmermann, которая даже однажды поехала с Анной Григорьевной на пароходе по Эльбе, но Анна Григорьевна бродила все больше одна, осматривала развалины старинных замков и по несколько раз в день бегала на почту и на машину, но Федя все не ехал и писал, что еще задерживается на день и просил прислать денег, – она ходила еще легко, хотя ее уже тошнило, и перед самым отъездом его они, перед тем, как начать плавание, говорили о будущем Мише или о будущей Соне – это уже было решено окончательно, а накануне его приезда из Homburg'a она нечаянно (а может быть, не нечаянно) вскрыла адресованное ему письмо от той, с которой несколько лет назад он уже побывал в этих местах, а потом в Италии и в Париже, и тоже играл на рулетке, и именем той женщины была названа главная героиня «Игрока», романа, который он диктовал ей тогда, в первый месяц их знакомства, – она старалась писать как можно быстрее, а потом вечером, у себя дома, засиживаясь до поздней ночи, переписывала все это, чтобы он мог завтра прочесть – нужно было успеть сделать все до конца месяца, чтобы не попасть в кабалу к Стелловскому, и, благодаря ее помощи, он сделал все вовремя и избежал этой кабалы, – мадемуазель Полина была, конечно, недостижимой женщиной, в особенности же отличалась она своими аристократическими манерами и этим уменьем не замечать, и какой-то уязвленной, болезненной гордостью, и сильным характером, а у Анны Григорьевны ломались карандаши, и она чувствовала, что краснела, когда он взглядывал на нее, и неловко поправляла оборки на своей почти гимназической юбке, и голос у нее садился, когда она спрашивала его о чем-нибудь, а в кабинет в это время заглядывал пасынок, небрежно одетый, с голой грудью, открывающейся из-под несвежей рубахи, какой-то весь засаленный, со своей наглой усмешкой, а Полина в это время витала где-то в страшной недостижимой высоте, и он стоял перед ней на коленях, и готов был целовать следы от ее ботинок, и вот теперь она снова появилась, но уже не в романе, а настоящая, живая, со своим почерком, до этого неизвестным ей, Анне Григорьевне, и она снова почувствовала, как мачта выскальзывает из ее рук, – она шагала взад и вперед по комнате, приложив руки к вискам, словно у нее была мигрень или ей нужно было неотложно решить какую-то задачу, – в письме та назвала ее, Анну Григорьевну, Брылкиной, хотя ее фамилия была Сниткина, и в этом близком буквосочетании было что-то особенно обидное и презрительное, как будто на свете существовала одна Полина – одна, главная, а Анна Григорьевна оказалась какой-то помехой на ее пути, да к тому же еще какой-то мелкой, даже не заслуживающей серьезного упоминания, что-то вроде грязной лужицы или небольшого болотца, которое можно легко обойти, – она положила письмо на его стол, среди прочих писем, словно оно значило не более, чем другие, и когда она, наконец, встретила его на вокзале, и они пошли домой, и он осторожно вел ее под руку и оглядывал ее внимательным взглядом, словно выискивая в ней какие-либо перемены, которые могли бы произойти с ней за время его отсутствия, – пока они шли вот так, шагая в ногу, и он нес свой дорожный саквояж, и лицо его было покрыто угольной пылью после дороги, и воротничок и манишка тоже, и она думала о том, как они сейчас придут домой и она займется стиркой и глажкой его белья, – пока они вот так шли, она как-то забыла об этом письме, но когда он сел за свой письменный стол и начал разбирать письма, она прижалась спиной к дверному косяку и обхватила его сзади руками, словно удерживаясь, чтобы не свалиться, – она должна была видеть своими глазами, как он прочтет это, – он развернул это письмо и сразу весь как-то подался вперед – он приехал в Париж и тут же поехал к ней в отель – она вышла к нему со своей тяжелой темно-

русой косой, обвивавшей ее голову, в длинном платье, и он упал к ее ногам, потому что он уже по глазам ее увидел, что что-то произошло, и она ему объявила, как это делают только в романах, что она полюбила другого, и этот другой был красавец-испанец, каких рисуют на обложках модных журналов, с иссиня-черными волосами, рассыпающимися по плечам, с синими глазами и с ослепительно белыми зубами, какой-то бесившийся с жиру аристократ, а попросту говоря, обыкновенный жуир, который уже успел бросить ее, но он был готов на все и умолил ее поехать вместе с ним – они жили в отелях в соседних комнатах, ехали рядом в поезде, занимали одну каюту на пароходе, но они дали друг другу клятву, что будут только друзьями, – вернее, он сам предложил это, иначе она бы не согласилась ехать с ним, предложил, заранее понимая абсурдность этого и смутно, в глубине души, надеясь и веря во что-то иное, и это иное, ничем, однако, не разрешившееся, проступало в его снах – ему снилось, что они плыли куда-то далеко к синему горизонту, мерно и ритмично вскидывая руки, дыша одним дыханием – его вдох был ее вдохом, но, проснувшись, он видел себя сидящим на берегу, в неудобной позе, а ее вообще не было видно – то ли она скрылась где-то за горизонтом, то ли вообще не входила в воду, – он вбегал к ней в номер, без стука, в надежде на что-то – она встречала его в утреннем пеньюаре и милостиво, как королева, протягивала ему руку – постель ее была еще не убрана, и, на секунду закрыв глаза, он снова воображал себя плавающим с ней, но безжалостное итальянское солнце прорывалось сквозь неплотно задернутые драпри, и с улицы слышались бойкие голоса торговцев и стук экипажей – утро заканчивалось ничем, а впереди предстоял день, полный того же безжалостного солнца, но еще мучительнее были путешествия в одной каюте, когда ночью, проснувшись после своих сновидений, он различал в предраассветном сумраке контуры ее тела, обрисовывающиеся под легким пуховым одеялом, – однажды, накинув на себя халат, он присел к ней – она приподнялась, вся купаясь в своих волосах, и стала отталкивать его, а он припал к одеялу, покрывавшему ее колени, и стал целовать одеяло, тогда она сказала, что крикнет прислугу, и он как-то сполз, даже скорей осел на ковер, рядом с ее диваном – пароход чуть покачивало, и через иллюминатор доносились крики чаек, – на палубе и в ресторане их принимали за путешествующих любовников – он стал целовать край простыни, спускавшийся с постели, – «Вы с ума сошли!» – крикнула она ему, – она сидела, откинувшись на спинку дивана, с рассыпавшимися волосами, широко раскрытыми от испуга глазами чем-то напоминая княжну Тараканову, как будто сейчас в каюту должна была хлынуть вода, – уловив страх в ее глазах, он стал целовать ковер, лежавший на полу, – теперь все словно уже катилось под гору и остановиться было невозможно, и от этого паденья только дух захватывало – она должна была пройти по нему – он требовал только этого, потому что катиться вниз уж нужно было до конца, – он видел себя со стороны – лежащий ночью на полу каюты в халате, ничком, уже немолодой человек с закипавшей на губах пеной – впрочем, не терял ли он на секунду сознания, потому что откуда могла быть эта пена? – руки его, державшие письмо, немножко дрожали, когда он читал строки, написанные ее рукой, – Анна Григорьевна до боли в пальцах сжимала позади себя дверной косяк; и ей казалось, что комната сейчас пошатнется, и она упадет, – поезд бежал по узкой колее, прихотливо изгибающейся между круглыми холмами, покрытыми темно-зеленым лесом из буков, вязов и других деревьев, свойственных среднегерманским широтам и возвышенностям – Шварцвальдам, Тюрингенам или, может быть, каким-нибудь другим горам, – игрушечный поезд из маленьких вагончиков такого же игрушечного паровоза с красными спицами на колесах и с длинной трубой – сейчас такие паровозы изображают на марках специальной серии, посвященной истории паровозостроения, – и в одном из вагонов этой почти детской железной дороги в отделении второго класса ехал уже немолодой человек, одетый в темный костюм берлинского покроя, с простоватым русским лицом, с залысинами и с серовато-русой бородой, рядом с ним молоденькая женщина, чем-то похожая на курсистку, но с тяжелым исподлобья взглядом, в шляпке и в дорожной мантильке, с картонной коробкой

на коленях – иногда она засыпала, вернее, задремывала, склонив голову на плечо мужа, и тогда он, скосив глаза, внимательно и недоверчиво поглядывал на ее лицо, словно стараясь в нем что-то прочесть, – недавно я видел его на выставке картин одного популярного художника, он был изображен в верхнем левом углу картины, возле которой стояло особенно много народу, так что нижняя часть картины была от меня закрыта, но потом я все-таки протиснулся вперед и увидел то, что ожидал увидеть по рассказам уже видевших эту картину: три жирных борова, розовых и в то же время каких-то плакатных, потому что именно таких рисуют на какой-нибудь картине, посвященной передовым людям свинофермы, а чуть подальше свиней, вернее повыше, лежал какой-то не то обезглавленный, не то окровавленный труп, а еще повыше, так что это уже можно было видеть издалека, не протискиваясь вперед, стоял длинный стол, несущий на себе остатки пиршества, с кубками, наполненными тяжелой красной жидкостью, которая, наверное, должна была обозначать кровь, и еще повыше, но уже левее, то есть уже поближе к автору «Бесов», перед чернявым мужчиной, представлявшим собой странный гибрид ударника производства и мужика от сохи, на коленях стоял юноша без рубашки, в одних джинсах и босой, и тоже с лицом какого-то не то передовика, не то мужика, а наверху слева за полукруглой чертой, долженствующей, по-видимому, обозначать нечто вроде нимба, который рисуют обычно вокруг святых, за этой чертой тесной кучкой столпились российские именитости: Ломоносов и Петр I в париках, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, еще кто-то, и среди них – автор «Бесов» – все какие-то бесплотные, с бледными лицами, словно сошедшие со страниц школьных учебников, – картина называлась: «Возвращение блудного сына», и рядом с ней висела небольшая табличка, на которой во избежание кривотолков крупным шрифтом объяснялось, что хотел выразить художник в своем произведении, – толпа осаждала эту картину, занимавшую полстены, так что скорей это была уже не картина, а целое полотно, почти как «Явление Христа народу», а позади толпы ходило несколько человек с простыми лицами – из тех, что забивают козла, – один из них даже, кажется, под хмельком, с оттопыренным карманом, в котором у него, наверное, была припрятана поллитровка, – он заговаривал со всеми, размахивал руками, тыкал пальцем в сторону картины, – глядя на пятки преклонившегося в джинсах, передо мной невольно всплывали пятки стоявшего на коленях перед отцом рембрандтовского блудного сына – огромные, размытые, являющиеся средоточием картины, – поезд игрушечной железной дороги, окутанный клубами дыма, который выходил из длинной трубы машины, тем временем продолжал свой извилистый путь между Шварцвальдами и Тюрингенами – его вполне можно было взять в руки со всеми его вагончиками и пассажирами, как это делал Гулливер с лилипутами, и пустить этих человечков ходить по столу, а потом забавляться, слегка дуя на них, как на свечку, которую хочешь погасить, – как бы они заматались от этого урагана – как муравьи, когда в муравейник пихаешь какую-нибудь палку или даже просто спичку, – просыпаясь и глядя в окно, Анна Григорьевна видела покрытые темно-зеленой растительностью холмы и горы, на вершине или на уступе которых белели, краснели или розовели, в зависимости от цвета камня, времени дня и освещения, бывшие рыцарские замки с зубчатыми башнями – именно такими она себе и представляла их по картинам, висевшим у них в гостиной, а из темного леса, покрывающего склоны гор, выходили сказочные тролли, игравшие на свирелях, и от склона к склону разносились тирольские песни – «А-лю-лю! а-лю-лю!» – трехтактные, с ударением на третьем такте, с переливами и повторами, словно эхо в горах, а у подножия холмов текли мирные немецкие речки, на берегу которых паслись тучные стада коров и овец, проплывали города с краснокирпичными островерхими домами и готическими башнями – по улицам этих городов, не торопясь, прогуливались горожане, стуча тяжелыми ботинками с бантами по клинкеру, – несколько раз Анна Григорьевна и Федя пересаживались с поезда на поезд – то днем, то ночью, – Федя провожал Анну Григорьевну в дамскую комнату, потому что ее тошнило и один раз даже вырвало, – Лейпциг, Варсбург, Франкфурт – во Франкфурте они

остановились в какой-то гостинице в двух шагах от станции и спросили себе телячьих котлет и бульону, а потом пошли осматривать город, – они вошли в Langestrasse, которая начиналась большой аллеей деревьев с белыми цветами, – какой-то немец на их вопрос объяснил им, что это белая акация, – Анна Григорьевна впервые видела белую акацию в цвету, и она ей очень понравилась, – затем они попали на большую улицу вроде Невского проспекта с множеством магазинов, они купили «Колокол» Герцена, но взяли с них ужасно дорого – 54 крейцера, а потом Федя купил себе галстук, – вначале он выбрал розовый с колечками, но потом переменял мнение и взял синий с точечками, который стоил 3 флорина и 15 крейцеров, но для Анны Григорьевны подходящего галстучка в этом магазине не оказалось, потому что были или очень узкие, или широкие, или вообще нехорошие, а в другом магазине они смотрели очень миленькие шляпки, потому что Федя все время твердил, что Анне Григорьевне необходима новая шляпка, – они вышли на какую-то длинную и жаркую улицу, почти пустынную в этот час, с окнами, которые почти все были заперты ставнями, так что город казался мертвым, затем пошли какими-то боковыми улицами и вышли на набережную Майна, который был опять-таки удивительно похож на тот Майн, который был изображен на картине, висевшей в гостиной в доме Анны Григорьевны, – вернувшись на улицу, похожую на Невский, они снова зашли в какой-то магазин, где Анна Григорьевна купила себе лиловый галстук за 2 флорина 12 крейцеров, а потом примерила одну шляпку, соломенную, с лиловым бархатом, очень миленькую, приглянувшуюся ей раньше, когда они еще в первый раз проходили по этой улице мимо этого магазина, но тогда она не осмелилась попросить Федю зайти сюда, потому что он все время куда-то торопился, – оказалось, что эта шляпа стоила 20 флоринов – просто чудовищная цена сравнительно с Дрезденом – несмотря на это, Федя раскланялся и пожелал, чтобы француженка, показывавшая шляпы, продала им эту шляпу, потому что она, наверное, принимает их за варваров, за диких, на что она предезко ответила, что видно, что они вовсе не дикие, и несколько раз ломаным языком сказала «хорошо», чем окончательно рассердила Федю и вызвала его резкий ответ, – так и не купив шляпу, они вышли из магазина и снова пошли по улицам, затем зашли в магазин цветов и долго выбирали розы, потому что все они были какие-то нехорошие, – в конце концов, они купили все же две розы по 18 крейцеров за каждую, а потом вишни – по 6 крейцеров за фунт – через сто лет с небольшим в аэропорт этого же города под охраной восьми штатских с пистолетами в задних карманах, на самолете Аэрофлота, задержавшем свой очередной рейс на два часа из-за затянувшихся телефонных переговоров, которые шли между управлением Лефортовской тюрьмы, зданием на Лубянке, аэропортом и дипломатическими представителями в Бонне, на самолете этой линии в аэропорт этого же города прибыл человек среднего роста в вятской дубленке с бородой, явно старившей его, и с двумя продольными горестными морщинами, прорезавшими его лоб, хорошей еще шевелюрой, держа в руках меховую шапку-ушанку, – он спускался по трапу в сопровождении охраны, словно глава государства, а внизу почтительным полукругом столпились фото-, теле-, кино- и просто корреспонденты, и уже щелкали и жужжали камеры, а когда он спустился вниз и ступил на асфальт, вся эта толпа плотно сомкнулась вокруг него, и еще ожесточеннее защелкали и зажужжали камеры, а те, кто оказался в задних рядах, стали поднимать свои аппараты и, держа их на вытянутой руке, продолжали ими щелкать и жужжать, – охрана вернулась в самолет, а через с трудом расступившуюся толпу навстречу прибывшему гостю прошел одетый в элегантное светло-серое пальто известный немецкий писатель, и вот уже вдвоем они ехали в длинном черном лимузине, принадлежавшем немецкому писателю, по широкой автостраде, ведущей к городу на Майне, по набережной которого только что бродили русский писатель с женой, выехавшие из Петербурга в середине апреля 1867 года, а через несколько дней важному гостю, которому предстояло гостить за границей вечно, доставили на самолете его жену – молодую женщину с двумя детьми – она была намного моложе его и, просыпаясь ночью на вилле немецкого писателя, русский гость в первую минуту по

уже установившейся привычке протягивал руку, чтобы обнять жену, но вместо нее странная пустота оказывалась рядом с ним, – она была где-то там, далеко от него, и он видел, как ей выламывали руки, требуя от нее признания, но она скорей готова была пойти на другое, более страшное, и от одной мысли о возможности этого, другого, у него начинало колотиться сердце – перевернув подушку на другую сторону, чтобы охладить свое горящее лицо, и ожесточенно подмяв ее под себя, он снова погружался в сон, но какой-то насильственный, словно под наркозом, и сквозь этот сон проступали ее руки, как она закидывала их вокруг его шеи, и ее улыбка, когда она, откинув голову с тяжелыми волосами, смотрела на него, чуть щуря свои глаза с длинными ресницами, – точно так же, много лет назад, засыпая на нарах, он видел лицо другой, и когда однажды ей разрешили приехать к нему, и он сидел с ней в караулке, а рядом нетерпеливо расхаживал охранник, и он держал ее за обе руки, ему показалось, что это был сон, настолько это было неправдоподобно после стольких настоящих снов, и все эти годы, пока он был там, она ходила по инстанциям, и хлопотала, и простаивала в очередях, чтобы попасть на прием, но когда он вернулся, она уже показалась ему не такой, какой он ее видел в своих снах и во время этого единственного свидания – кожа ее вокруг глаз стала морщинистой, и в волосах появились седые пряди, и когда он целовал ее, то даже закрыв глаза, он видел эти ее морщины и седые волосы, и на улице взгляд его невольно останавливался на молодых женщинах, и, помимо его воли, он провожал их этим долгим взглядом, и некоторые из них чуть замедляли шаги и тоже оглядывались, и, кроме того, она считала, что он должен устроить свою жизнь по-иному, и в это время появилась эта женщина со своим сладковатым прищуром глаз и с густыми, рассыпающимися по плечам волосами – вся она была какой-то необыкновенно легкой, невесомой, и эта ее невесомость передалась его телу – он с какой-то уже, казалось, навсегда утерянной легкостью вскакивал теперь на подножку трамвая или автобуса и, работая, он ощущал эту же легкость, и слова сами приходили собой, точные и разящие, – постаревшая женщина с седыми волосами оказалась в больнице – врачи, смущенно покашливая и отводя взгляд куда-то в сторону, говорили, что это у нее что-то возрастное и преходящее, – она ходила быстрыми шагами по длинному больничному коридору из конца в конец, от одного окна, покрытого деревянной решеткой, к другому, одетая в такой же, как у остальных халат, и ей казалось, что все знают, и видят, и понимают, отчего она попала сюда, – он продолжал выступать, призывать, обличать, заклинать, письменно и устно, и эти обличения и заклинания стали еще ожесточенней и непримиримей, потому что жертва должна была чем-то окупиться, и он обязан был использовать до конца ту внутреннюю свободу, которую обрел ценой этой жертвы, – ярость его обличений и заклинаний, казалось, призвана была заглушить его боль – проповедуя и обличая, он часто ссылался на русского писателя, который только что со своей женой прогуливался по набережной Майна, – между прочим, одна из мыслей этого русского писателя XIX века заключалась в том, что нельзя строить счастье, даже всеобщечеловеческое, на страдании других, даже на одной жизни, на одной загубленной жизни, особенно детской, – дети с протянутыми руками, дрожащие от сырого петербургского тумана где-нибудь возле Вознесенского моста или на Гороховой, особенно девочки, нищие, избитые или обесчещенные, выплывали откуда-то из темноты, словно на эскалаторе, на миг подсвечиваемые театральным прожектором, чтобы снова скрыться во мраке, заменившись новой такой же фигуркой, еще более униженной и гордой, и поэтому еще более бестрепетно или трепетно готовой отдать себя на поругание, – эта Нелли, высвобожденная рассказчиком от бесчестной хозяйки, собиравшейся продать ее какому-то сластолюбцу, и живущая теперь в одной комнате с рассказчиком, в соблазнительной близости с ним, эта Неточка, сирота, болезненно влюбленная сначала в своего отчима, затем в Катю, нежащаяся с ней в постели, так что на Катином месте представляешь себе не-Катю, эти девочки из лондонского (на сей раз не петербургского) тумана из «Зимних заметок о летних впечатлениях», протягивающие свои грязенькие ручки к прохожим, чтобы только их взяли; то Матреша из грязного петербургского

угла, насильно взятая Ставрогиным и затем повесившаяся и снова привидевшаяся Ставрогину на какой-то фотографии в одном из магазинов Франкфурта-на-Майне, по которому недавно бродили супруги Достоевские, эта девочка в гробу, привидевшаяся Свидригайлову в гостинице в ночь накануне самоубийства, тоже обесчещенная – уж не Свидригайловым ли? – этим полу-Ставрогиным, этой еще наполовину только воплощенной мечтой-антитезой своего создателя, и затем утопившаяся, – все эти девочки-подростки, эти замарашки из грязных углов, вплоть до полоумной Лизаветы Смердящей, с которой грех был, наверное, особенно сладок, ибо чем беспомощнее жертва, тем острее наслаждение, которое получаешь, а грязнотца делает все это еще более пикантным, – все эти девочки-подростки, эти «нимфетки», более откровенно воспетые Набоковым в его «Лолите», не для того ли явились они на свет божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего создателя от чего-то страшного и тайного? – и не оттого ли и силен так пафос обличения, что призван заглушить в себе иные чувства? – за окном вагона сквозь не рассеявшийся еще утренний туман появились окрестности Бадена, – Анна Григорьевна дремала, склонив голову на плечо мужу, – он, скосив глаза, всматривался в ее лицо пристально и недоверчиво – неужели эта женщина действительно любила его? – когда он увидел ее у себя дома, в первый раз, ему показалось невероятным, что эта молодая девушка, почти еще гимназистка, с нетронутым и свежим лицом, чуть раздурманенным после улицы, может остаться у него в доме навсегда, стать его женой, и он будет иметь право всегда, в любой момент, подходить к ней и целовать ее в затылок, в то место, где у нее были забраны вверх волосы, но сама мысль о том, что она может стать его женой, пришла ему в голову почему-то с самого первого раза, когда она сидела в его кабинете за круглым столиком, прилежно, чуть склонив голову набок, стенографируя то, что он говорил своим глуховатым голосом, – в тот день он держал себя с ней нарочито резко и сухо, чтобы не дать почувствовать ей той власти над ним, которую она уже обрела, но когда он, диктуя ей, представлял себе, как стоит перед ней на коленях при колеблющемся свете догорающей свечи и целует ее ноги, а она не собирается никуда уходить, потому что она его жена, и он сейчас задует свечу, и они пустятся в страшное и сладкое плавание, голос его становился хриплым, и он закрывал глаза, чтобы не видеть перед собой этой гимназистки или курсистки, как он нарочно старался о ней думать, чтобы не давать ходу своему воображению, потому что курсистки были то же самое что семинаристы, – неужели она действительно любила его? – иногда ему казалось, что она просто притворяется, – уж не имя ли его привлекло ее? – когда он целился в Дрездене в тире, она стояла рядом и чуть улыбалась – она думала, что он не попадет, и даже сказала ему: «Не попадешь», – а до него стрелял какой-то немец, все время попадавший в кружочек, что заставляло подниматься из-под пола железного турка, – и она с восхищением смотрела на то, как стрелял этот немец, и немец тоже бросал на нее многозначительные взгляды, а ему она сказала: «Не попадешь», – но он попал с первого же раза, ей назло, и железный турок в раскрашенной феске выскочил из-под пола, точно так же как у того немца, и он, торжествуя повернувшись к ней, громко сказал, почти крикнул: «Что? попал?» – и после каждого выстрела, достигавшего цели, он снова и снова оборачивался к ней и кричал: «Ну, что?», – так что на них уже даже стали оглядываться, и выражение ее лица после каждого его удачного выстрела и торжествующего восклицания становилось каким-то все более испуганным и жалким, и это еще более раззадоривало его, и он еще громче выкрикивал свое «Что?» – вокруг них уже собрались, и лицо ее, когда он к ней поворачивался, чтобы бросить свое торжествующее: «Что?» – стало некрасивым, и даже какая-то желтизна проступила на ее лбу – в эти минуты ему хотелось, чтобы она поскорее состарилась и стала вот такой некрасивой, и мужчины, вроде того немца, перестали бы поглядывать на нее, и она потеряла бы свою власть над ним, – в письмах к своим родным она, наверное, подсмеивалась над ним и даже, может быть, рассказывала что-нибудь гадкое об их плавании, – иногда она притворялась, что не спит, но он знал, что она спала – уже по одному звуку ее голоса – неужели нельзя было посидеть вот эти вечерние полчаса рядом с ним, когда ему так

хорошо думалось, посидеть возле его стола? – она обязательно уходила в другую комнату, и он наверняка знал, что она спала, но когда он входил к ней и начинал трясти ее за плечи, чтобы она проснулась, она начинала уверять его, что не спала, хотя глаза ее еще слипались, и эта явная ложь больше всего бесила его – она просто не хотела сидеть с ним, зато как она оживленно беседовала с мадам Zimmermann, этой пустоголовой и болтливой немкой, о разных кружевах и прочих пустяках – однажды, после того как он ее в очередной раз уличил, что она спала, а она, как всегда, притворялась, что не спит, она все-таки пришла к нему в кабинет и села рядом с его письменным столом – он не смотрел на нее, но чувствовал, что глаза ее слипаются, и она преодолевает себя – ему не нужно было ее одолжений – за окном, цокая по клинкеру подковами, проехал извозчик, где-то там, вдали, за островерхими крышами краснокирпичных домов, садилось солнце – мысль его то и дело сбивалась на что-то постороннее, и ему казалось, что этим посторонним была она, сидевшая с ним не по своей воле, а по принуждению, и тогда, вскочив со стула, он закричал ей, что она сидит с ним из мщения, специально чтобы досадить ему, и чем более понимал он абсурдность этого обвинения, тем запальчивее кричал – пусть все слышат это и, в первую очередь, эта мадам Zimmermann, с которой она так близка, ее приятельница, ее подруга! – он резко отодвинул стул ногой и стал искать гильзы для набивки табаком, руки его дрожали. Закрыв лицо ладонями, Анна Григорьевна выбежала из комнаты – он яростно перебрасывал лежавшие на столе бумаги и книги и выдвигал ящики – гильз не было, хотя он помнил, что положил их на стол, ближе к правому краю, чтобы они всегда были под рукой – может быть, она знала, где гильзы? – он побежал вслед за ней в комнату, понимая, что гильзы был лишь предлог, – она сидела на краю кровати, все так же, закрыв лицо руками, плечи ее сотрясались, – он встал перед ней на колени и силой отвел ее руки, – по лицу ее текли слезы, – он стал целовать ее руки и ее колени, – она притянула его голову к себе и неожиданно рассмеялась, – он высвободил голову из ее рук и вопросительно посмотрел ей в глаза, смеющиеся и еще мокрые от слез, – она сказала, что смеется оттого, что не может сонный человек отвечать за свои слова, а он именно требует этого от нее, – вечером, как всегда, он пришел проститься с ней – они опять заплыли очень далеко, так далеко, что берег скрылся из глаз, как будто его и не было, – они плыли, ритмично дыша, то погружаясь в воду, то легко выталкиваясь из нее, чтобы набрать в легкие воздух, и когда, казалось, плаванию этому не будет конца, и они вот-вот оторвутся от воды и уже не поплывут, а полетят, словно чайки, свободно и легко паря над морем, он вдруг вспомнил ее смеющееся лицо – конечно же, она смеялась над ним, и какое-то встречное течение стало сбивать его в сторону, и рядом с ее лицом появилось одутловатое лицо плац-майора со свешивающимся в виде шара подбородком, словно шар этот напился кровью, как комариное брюхо, и рядом с этим надменно осклабившимся лицом появились еще лица – его знакомых и друзей, особенно женщин – той, с которой он находился в одной каюте, не смея прикоснуться к ней, и той самой первой женщины, которую он когда-то, еще в молодые годы, до своего ареста, увидел в салоне у Вильегорских, где собрались писатели, – она была так хороша собой, так немислимо недосыгаема в своем длинном платье, шлейф которого неслышно следовал за ней, словно за королевой, со своими светлыми локонами, обрамлявшими ее лицо, так немислимо недоступна со своим тонким запахом духов, что, когда она подала ему руку, чуть подзадержав в его руке, – так, что он понял, что она сделала это для того, чтобы он поцеловал ее руку, нежно белевшую в прорезе перчатки, он как-то странно покачнулся, даже чуть не упал – наверное, он потерял на несколько мгновений сознание – уж не первый ли предвестник его болезни случился с ним тогда? – и потом все бывшие там посмеивались над ним, и кто-то написал даже обидное четверостишие по его адресу, но она оставалась все так же серьезна и внимательна к нему и только перестала задерживать свою руку в его руке, но теперь и она смеялась, а те, бывшие тогда в гостиной, сейчас просто гоготали, самодовольные, лоснящиеся от сытости бездарности, перед которыми он тогда раскрывал свою душу, а они разносили это по всему Петербургу с

шуточками и прибаутками – он же считал тогда, что они просто подхватывали его мысли и преклонялись перед ним, – теперь они просто гоготали, и вот он уже барахтался возле самого берега, а Аня плыла где-то далеко, почти у самого горизонта, там, где морская синева сливалась с такой же синевой неба, – все они, вместе с ней смеялись над ним, – оставив ее плывущей где-то за горизонтом, он набросил халат, вышел в другую комнату и, засветив свечу, уселся за свой письменный стол, подперев голову руками, – да, она была естественный враг его, в этом не было сомнения, и на следующий день, когда она, неосторожно подвинув стол с утренним кофе, больно задела его ножкой этого стола, он сказал ей, что она это сделала нарочно, и потом в последующие дни снова повторял ей, что она зла и нарочно делает ему неприятности, – лицо ее в эти минуты принимало жалкое и испуганное выражение, как тогда, в тире, и она уже не смела больше смеяться, а только опускала голову все ниже, словно пыталась скрыть от него свое лицо, а он становился перед ней на колени, обнимал ее ноги и просил простить его и, главное, не смеяться над ним, а потом, вскочив на ноги, раздосадованный своим унижением перед ней, он принимался быстро ходить по комнате из угла в угол по диагонали, опрокидывая ногой стулья, попадавшие ему на пути, и выкрикивая, что он все-таки достоин уважения, хотя у него нет денег, – она, еще ниже склонив голову и стиснув ее руками, словно у нее была мигрень, стояла неподвижно, с каменным выражением лица, которое почему-то сменяло собой испуг, – знакомые ему окрестности Бадена с домами и дачами медленно плыли за окном, но он по-прежнему внимательно и напряженно вглядывался в ее лицо – она спала, положив ему голову на его плечо, и на мгновение ему показалось, что на ее лбу и щеках снова выступает уже знакомый ему оттенок желтизны, который он тогда заметил у нее в тире, – она дышала спокойно и ровно – конечно же, ей нужен был сон, и желтизна ее тоже, наверное, происходила от будущего Миши или будущей Сони – как он раньше не понял этого? – он погладил ее по голове, и она проснулась, глядя на него так, как смотрят только что проснувшиеся дети, – «Подъезжаем», – сказал он ей, – она увидела за окном вагона высокую гору, покрытую зеленью, сквозь которую проступали белые и краснокирпичные дома, и среди них готические башни соборов, а над всем этим темно-синее небо с плывущими по нему легкими облаками – именно таким она представляла себе этот город, но надо было готовиться к выходу и запаковывать вещи, – он сидел, чуть откинувшись на спинку дивана, положив руки на колени, как это он делал во время фотографирования, и вглядывался в приближавшийся город – сквозь зелень садов, покрывавших склоны горы, он ясно увидел белое двухэтажное здание с готической крышей, окна его даже днем были занавешены тяжелыми бархатными портьерами, под потолком, в табачном дыму были зажжены огромные хрустальные люстры, освещая задрапированные зеленой материей залы, углы которых тонули во мраке, потому что из-за табачного дыма свет не достигал этих углов, а в середине каждой залы, центральной – большой и двух боковых – поменьше, стояли столы, тоже покрытые зеленым сукном, а вокруг столов – люди с желтыми от бессонницы лицами, – руки их тянулись к столам, где были рассыпаны золотые монеты, – они отсвечивали каким-то мерцающим красноватым цветом, как оклады икон в церкви во время богослужения, когда зажжены все свечи, и огни их колеблются в облаках ладана, – а в самом центре столов, над россыпью золота, возвышались диски, отливающие зеленовато-красным цветом, и это уже был алтарь или даже царские врата, потому что они были доступны только одному человеку с бесстрастным лицом, который спокойно колдовал над этими таинственными дисками с черными, как агат, и красными, как рубин, цифрами, среди которых метался, решая судьбу, неуловимый серебристый шарик, – недоступный, как мячик во время игры в Launtennis, – золотые монеты, рассыпанные по столу, стали сами по себе собираться в груды, словно чья-то невидимая рука принялась рассортировывать и складывать их, – сидящий в поезде человек со сложенными на коленях руками прикрыл веки – он выигрывал кучи этих золотых монет, но как только он протягивал руку, чтобы сгрести их себе, чьи-то чужие руки тянулись к ним и захватывали, загребали

их – руки эти принадлежали людям с желтыми лицами, столпившимися вокруг стола, – и вдруг он понял, почему эти груды доставались им, – у них не было вершины, он пытался их взять прежде, чем они образуют форму треугольника, надо было дожидаться этой формы, этой вершины, и тогда эти деньги стали бы его собственностью, – он открыл глаза, когда поезд стал замедлять свой ход – за окном медленно проплыло и остановилось аккуратное краснокирпичное здание железнодорожной станции Бадена, – Анна Григорьевна, прильнув к окну, всматривалась в здание станции и в фигуры людей, фланирующих по платформе, словно их кто-то должен был встречать, – это был живой, настоящий Баден, и она уже видела себя гуляющей с мужем по главной улице Бадена – Lichtentaler Allee, – о которой она столько слышала, среди разодетых и расфранченных отдыхающих, сменив свою черную кружевную мантилью на пышное платье с оборками, потому что должно же было Феде наконец повезти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.